

Сергей Чернов

# ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

*Рассказы*



АО «Воронежская областная типография»

Воронеж

2021

УДК 821.161.1-4  
ББК 84(2=411.2)6-4  
Ч 49

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
департамента культуры Воронежской области

**Ч 49      Чернов Сергей.**  
**ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.** Рассказы. – Воронеж: АО «Воронеж-  
ская областная типография», 2021. – 176 с.

Сергей Чернов – член Союза писателей России, прозаик. Лауреат ряда всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, в том числе конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы», литературной премии всероссийского фестиваля словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» и других. Рассказы Сергея Чернова публиковались в журналах «Москва», «Подъём», «Север», «Нева», «Волга», «Нёман», «Роман-газета», в сборниках по итогам соещаний молодых литераторов Воронежского края. «Другая жизнь» – первая книга автора.

На обложке – репродукция картины  
нидерландского художника Винсента Ван Гога  
«Башмаки»

ISBN 978-5-4420-0908-8

© Чернов С.В., 2021

## ДРУГАЯ ПРОЗА

*Юрий Козлов о рассказах Сергея Чернова*

**К**огда-то один молодой автор спросил Достоевского: что необходимо для того, чтобы стать писателем? Достоевский ответил: «Страдать». Тот уточнил, а что ещё? Страдать, повторил Достоевский.

Истинная, берущая за душу, заставляющая читателя сопереживать героям и описываемым событиям, литература всегда замешана на страдании. Человеческий мир несправедлив, полон неразрешимых противоречий, психологических и социальных конфликтов. Окружающая жизнь – настоящий «заповедник страдания», куда заходит писатель, чтобы светом своего творчества разогнать сгустившуюся тьму, дать читателю надежду, что не всё потеряно.

Рассказы Сергея Чернова – оттуда, из самой что ни на есть глубинной российской жизни. И характеры героев – типичные характеры доламываемых жестокой реальностью русских людей. Они обнажёнными нервами, как следователь Ярошенко в рассказе «Осень», ощущают разлитую в воздухе боль искаленного мира, но не знают, как её излечить, и существует ли вообще способное её излечить лекарство? Рассказ «Осень» страшен своим описанием необъяснимости и обыденности зла: подростки (старшеклассники, тридцать девятый размер кроссовок) зашли в дом женщины, торговавшей самогоном, закололи её как свинью, и спокойно ушли.

Или рассказ «Юлька», где превратившиеся (в полном соответствии с пожеланием властей) в «квалифицированных», не заморачивающихся духовно-нравственными проблемами «потребителей», родители построили дом с камином, наполнили его дорогой современной мебелью и техникой, но забыли про свою дочь – тихую, аккуратную Юльку. И она ушла в тёмный мир, склоняющих подростков к самоубийству социальных сетей, и то ли сама выбросилась из окна заброшенного многоэтажного дома, то ли ей помогли это сделать другие пользователи этих сетей. А у потерявших её родителей спустя какое-то время сгорел дом, «где столько добра», причём как-то странно, медленно истлел изнутри, ушёл в сажу, когда они уехали и не проследили за камином.

Если в рассказах «Осень» и «Юлька» ощущается социальный подтекст, ставится диагноз глубочайшего внутреннего неблагополучия современного российского социума, то рассказ «Другая жизнь» – тонкое (в стиле Юрия Трифонова или Фазиля Искандера) проникновение в мир чужого, но одновременно как бы и своего (в другом человеческом измерении) существования. Всего-то, едущий на грузовике за цементом герой видит из кузова мальчишку, играющего на поле с мячом, а потом угадывает где-то вдали нечёткую, как бы нарисованную акварельными красками фигуру женщины, видимо, его матери. Через лирические описания наступающих сумерек, окружающего ландшафта, угадываемых выражений лиц, опущенных плеч женщины и вскинутой головы ребёнка автор воспроизводит тревожную тихую красоту чужой (другой) жизни. Герой ощущает своё родство, сопричастность к ней. Это, собственно, и есть та самая человечность, которая, как и красота (по Достоевскому), «спасает мир».

Хорош и рассказ «Туман», где дед делится с внуком воспоминанием о пережитом в годы войны потрясении, когда он (в то время ребёнок) впервые ощутил ужас смерти, по-

знал зыбкую лёгкость, мгновенность (в плане пресечения) человеческой жизни. Автору удалось убедительно передать ужас, охвативший мальчишку, увидевшего тихо выходящих из тумана то ли призраков, то ли немецких диверсантов. Неясность с тем, кто именно прошёл по полю мимо спящих под телегами мальчишек, только усиливает напряжение рассказа, заставляет читателя задуматься о том, что такое война уже не в стандартном (с боями и героями), а, если угодно, мистическом, основанном на личностном опыте смысле.

Наиболее сильным мне показался рассказ «Шушуны». Героев (двух молодых людей) Артёма и Тоху нанимают некие «предприниматели» для поджога деревни Шушуны. Она стоит на пути строительства автомобильной трассы. Большинство домов в деревне брошены, но формально они за кем-то числятся, а потому «предпринимателям» их проще сжечь, чтобы не тратиться на поиск хозяев и выкуп.

Артём и Тоха – типичные жители провинциальной России, представители вычеркнутого из жизни, спившегося, лишённого будущего «глубинного народа». Они обливают из канистр бензином и поджигают улицу с брошенными домами, но в одном из них случайно наталкиваются на доживающую свой век древнюю, почти бестелесную старуху. Она по мысли автора олицетворяет уходящую деревенскую Россию, ту самую, некогда вынесенную коллективизацию и войну, а нынче преданную и сживаемую со света. Артём, в котором ещё не окончательно умерли душа и совесть, пытается спасти старуху, вывести её из дома, но несогласный с ним Тоха (старуха их видела, а потому может сообщить куда следует) бьёт Артёма ножом и убегает, бросая их в горящем доме.

Конец рассказа, впрочем, оставляет надежду. У раненого Артёма хватает сил выйти наружу.

*«И тут он увидел старуху. Две спины, две фигуры – одна худая и юная, другая сгорбленная, еле переставляющая ноги.*

Юноша с длинными лохматыми волосами вел ее, поддерживая под руку, принимая на себя вес сухого старого тела, к стоявшим поодаль дребезжащим «ижам». При виде старухи на душе у Артёма стало, наконец, спокойно – ощущение сытым домашним теплом разлилось по его груди.

«Ничего, мать, – сказал он ей мысленно. – Мы ещё поживём. Отстроим всё как было. Вот теперь – поживём».

И ему вновь захотелось сказать, вложив последние силы и всю свою боль, всем и неизвестно кому: «Пусть тушат!» Но в голове окончательно спуталось: кто тушит, что тушат?

Он только услышал, как где-то далеко – за гулом и треском пожара, за звериной песней мотоциклетных движков, за истошным девичьим рыданием – сухо, барабанисто прокатился гром».

Сергей Чернов – способный, думающий автор. В своём творчестве он опирается не только на мысль Достоевского о страдании как побудительном мотиве к писательству, но и на мысль Хемингуэя, что в основе каждого произведения должна лежать «интересная история». Во всех рассказах Сергея Чернова такая история имеется.

Представленные рассказы позволяют говорить о Сергее Чернове как о сложившемся, талантливом литераторе, у которого есть будущее. Другое дело, что затрагиваемые им темы сегодня не в чести у «премиальной», публикуемой крупными издательствами литературы и обслуживающих её критиков. В той литературе страдание (по Достоевскому) подменяется чернухой, а честное описание социальных проблем современной России – поверхностной и политически заданной критикой власти. У Сергея Чернова – другая проза.

**Юрий Вильямович Козлов,**  
прозаик, публицист, главный редактор журнала  
«Роман-газета»

## ШУШУНЫ

**В** тот вечер Артёму особенно не хотелось жить. Всего его скручивало. Сердце билось во вздувшихся венах на шее. Да ещё канистра, оттягивающая правую руку, нестерпимо воняла бензином так, что даже порывистый полевой ветер не отгонял, а, наоборот, бросал запах в лицо – на, мол, кушай! Но он шёл – упрямо, набычившись, глядя, как ноги топчут пожухлую коричневую с прозеленью траву. Шёл, а хотелось упасть и умереть. Или просто упасть и лежать, раскинув руки, лицом вниз. Время от времени Артёма мучила мелкая, противная похмельная дрожь.

– Она, может, где-то тут, рядом и будет. В четыре полосы. – Резкий голос оказывался то чуть впереди, то сбоку, но всегда слева, там, где самая боль. – Вот тут всё и заживёт!.. Это же такие люди серьёзные! Это же ли-у-у-уди!

Артём посмотрел на Тоху – высокий и худой, на полголовы выше Артёма, вышагивает, будто лёгкость в нём пружинистая. Потёртые джинсы и камуфляжная куртка. Коротко стриженная голова. И вечное выражение – будто он в детстве съел что-то кислое, да так и остался с осквернённым то ли гримасой, то ли ехидной ухмылкой лицом.

«Надо же, живчик, – с завистью подумал Артём. – Огурец! Наравне же пили... Да когда ж ты заткнёшься?!»

Но знал: не заткнётся, хоть в харю бей. Таков он – Антон, Тоха-Паха.

– Вот как пыхнет, и ветер огонёчек маслицем размажет! – Хитро сощуренные глаза у Тохи блестели.

Артём понимал: то были не его слова. Ещё с давних школьных лет, хоть они и не дружили-то в общем, так, заносило в одну компанию, никогда Артём не замечал раньше, чтоб Тоха-Паха так слащавил. А тут, стало быть, выпил с этими «людьми» по стопке да нахватался, аж губами причмокивает.

– Чего они... тца... жить-то мешают? Какой от них прок?

До домов было ещё далеко. Неровное, вытопанное ковронами поле тянулось к горизонту, низкому из-за сплошных серых облаков, и где-то там, вддали, смыкалось с ним. И ничего-то вокруг не было. Только неуместно торчал, качая большой медной головой, подсолнух с выклеванной птицами сердцевинкой – широкие сухие листья его были опущены, точно он в нерешительности пожимал плечами, – да поднималась время от времени до колена ломкая трава. И больше ничего, лишь они – с канистрами в руках.

Тоха забежал вперёд, едва не споткнувшись о какую-то кочку, и, заглядывая Артёму в лицо, выпалил:

– Я им говорю: есть у меня человек, друг – это ты! – и мы вдвоём! Только чисто надо. – И, вновь поравнявшись: – Таких людей нельзя подводить. Это же люди!

Время от времени – не так часто, как хотелось бы – его голос куда-то пропадал. И ветер гудящий пропадал. И пульсация в голове. Артём оказывался на блаженные мгновенья в тишине, только чувствуя, как при каждом шаге земля бьёт в пятки, – засыпал он, что ли?

– ...Стоят тут никчемушные. А городу жить надо... тца... развиваться! Ему надо, чтоб люди счастливы. Понимаешь – счастливы! Чтоб им за хлебушком не в магазин, а в торговый центр! И чтобы заправочка. Тут столько людей проезжать будет – весь мир на нас полюбуется. Разрастёмся!



Артём попытался представить, как город будет разрастаться, но представилась какая-то муть – бесформенная масса, наползающая в поля.

«Ага, – раздражаясь, думал Артём. – Разрастаться! Это они расти будут и пухнуть, эти твои «лиуди»... А, не один ли хрен, лишь бы с деньгами не обманули».

Ему вспомнилось, как сам он так же горланил, там, на квартире, кивал головой, повторяя одно и то же – про дорогу, про магазины, свет электрических фонарей, и про сумму, что ляжет в карман, – стараясь переплунуть в этом Тоху. Как опрокидывал стакан за стаканом, не чувствуя опьянения, лишь приятно шумело в висках, да хотелось перегнуть-ся через стол и обнять эту худую фигуру, крепко хлопая по плечу. А ещё хотелось музыки и совсем не хотелось спать. И только в один короткий момент Тоха вдруг устало откинулся на спинку стула, понизил голос до шёпота:

– Только... это... тихо надо. Чтобы ни одна душа. Я, если что, второй раз-то на зону не хочу...

Артём тоже откинулся на спинку стула.

В окно прокуренной комнаты билась пустая, оглохшая ночь.

Нет, он, конечно, тепло, этот Тоха. Кошкаровка – город небольшой, и каждый в округе знал, что Тоха-Паха ни на какой зоне не был, а только на пятнадцать суток ходок. И даже наколка с якорем у него на плече набита по дури, так как моря он и в бинокль не видел. Но теперь Артём с отчётливостью понял, что неспроста всё – веселье, галдёж. На дело идут. И если что – решётка. Артёму сделалось страшно и душно.

Но вот снова водка забулькала в стакан. В голове приятно загудело. Снова смех, шум голосов, поддакивающих и одновременно перебивающих друг друга. И так – пока не пришлось расходиться по койкам, хватаясь за всё, что попа-

дётся под руку, потому что пол качался, как табуретка под ногами самоубийцы.

«На дело, – и сейчас подумал Артём, отвлекаясь от назойливого голоса. – А деньги-то хорошие. На них жить можно хоть до зимы. А может, в ход пустить – ведь как-то пускают деньги в ход. Осточертело жить от попойки до шабашки».

Холодало. Правая рука у Артёма замёрзла, и он взял канистру в левую. Надо было кофту надеть, да какое там – когда уходили, он вывалился из подъезда точно из духовки, в которой его медленно тушили. Он даже распахнулся, а шапку, скомкав, сунул в карман застиранной до бесцветья куртки. Тогда ему было душно, солнце напрягало больной затылок. А погода испортилась – не до ноября же теплу стоять. Артём сунул руку в карман, но шапки не было – выпала. С досадой Артём провёл закоченевшей ладонью по русой, начавшей лысеть голове.

– ...Сами виноваты... тца... Была бы земля ничья, а так иди, найди этих собственничков. И все денюжку заламывают. А когда слух дойдёт – так и вовсе заломят! Это ведь мы с тобой образованные люди – а они так, пиявки колхозные, шелупонь жадная. Переселяй их!.. А витрины-то будут гореть – от одного вида слюна потечёт!..

«Нет, – всё думал Артём. – Не подписали бы трепло на такое дело. Может, ещё кто-то был да сдулся, не захотел по тигулям лазать – перекинул на дурака. Жаль. Может, денежек побольше было бы. Ну и то хорошо, что столкнулись вчера, пузырь взяли – сам хоть подвязался. А Тоха этих людей своих, может, и в глаза-то не видел!»

Так, провалившись в громоздкие, как земляные глыбы, мысли, Артём не сразу заметил, что на горизонте появились дома – щербатая линия пеньковатых зубов, прикусивших взбухшую губу небес. Улица Первомайская, по местному

Шушуны, отходила от города вдаль, по касательной, словно расправленное крыло в забытом стремлении взлететь. Где-то там по плану (Тоха эти слова говорил значительно: «По плану!») и должна пройти трасса, раскидывая вокруг кафешки и заправки, мотели и гамбургерные, разбрасывая вокруг деньги, которые кто-то знает, как собрать.

При виде домов у Артёма на душе стало тоскливо, будто всё это время он не сам шёл, будто его вели как телка – непонятно куда, в неведомые дали. Чтобы хоть как-то отогнать это ощущение, Артём попытался вернуться к мыслям о деньгах. Но больше не думалось.

– Тоха, – позвал Артём, поражаясь хриплости собственного голоса; язык шкрябал по сухому нёбу. – Антон, ты с деньгами что делать будешь?

Спросил и тут же себя отругал.

Тоха выпучил глаза:

– Я ж говорил – я на них жить буду! Я, знаешь ли, не какой-то там алкаш! Куплю себе чего-нибудь... Ну, перво-наперво обмою – так грех не обмыть. Но я не это, не алкаш какой-нибудь. У меня образование! Я, может, тоже в больших людях мог гулять! Но это... Там всё... Там же всё куплено! И между своими – попробуй пролезь! А задницы я лизать не умею – не такой я человек. У меня совесть и принципы! Никогда до такого не опускаюсь!.. А так я, может, тоже в кабинете мог сидеть!.. Ну, обмою... Коньячок там... Ты коньяк пьёшь? А там... Мне к зиме ботиночки – вторую пару. И телефон хочу, чтоб фото, всё такое. А ты – как?

Артём почувствовал, что тоже хочет и ботинки к зиме, и телефон, но хороший – они у него не задерживались: всегда ломались или терял. Ну и, конечно, обмыть – не водкой изпод полы и не самогоном, от которого раздрает изжога. И чтоб закусывать не яичницей. Но ответить хотелось иначе,

не по-Тохиному, а чтобы выше, чтобы он умылся своими мечтами.

Он наморщил лоб, ощущая в голове пустоту, звенящую как будильник. Но тут вдруг всплыло совсем забытое – неожиданно, как спасательный круг в бурунах.

– Подарок куплю, – выпрямив спину, сказал он. – У меня дочь есть.

– У, которая с Ленкой осталась?

Артём прикусил язык и у себя в голове Тохиным голосом продолжил: «Да, и фамилия у неё теперь не Михнова, и подарок твой ей и к чёрту не нужен». Но внезапно возникший образ его дочери – отчего-то не лицо, а затылок, белеющий широким пробором, оттянутым толстыми косами с большими белыми бантами, школьная форма и синий, с Микки Маусом рюкзачок – какое-то время плыл перед ним, пока не стал тускнеть, превращаясь в редкую серую траву.

– Тёмыч! – шёпотом в самое ухо.

Тоха вцепился Артёму в руку, дёрнул вниз. Они оба повалились на землю. Канистра выскользнула, в ней громко бултыхнулось.

Ошарашенный, Артём не успел и охнуть. В гневе ему захотелось вскочить, вмазать с ноги по ухмыляющейся роже. Но вид напряжённого лица Тохи тут же остудил. Он только чуть приподнял голову над невысокой травой.

Дома значительно приблизились. Отчётливо виднелись чёрные столбы электропередач. До Артёма донёлся нарастающий стрёкот моторов. Артём различил, как там, чуть ближе, чем сами дома, мчатся два красных пятна – мотоциклы, «Явы» или «Ижы». Ему показалось даже, что он различил и подростков, что сидели на них; показалось, что к спине одного прижалась девчонка. Даже – сквозь расстояние и звук движков – что они перекрикиваются между собой.

– У-у-у, – злобно протянул Тоха, вставая и отряхиваясь. – Местные. С Юрасовки. Шакалятся тут!

– Почему шакалятся? – спросил Артём, садясь. Ему стало обидно – и за себя, и отчего-то за этих ребят. Хотя с юрасовскими у него всегда была напряжёнка, но таким же вот пацаном он и сам гонял по полям на своём «ижаке». А сзади, прижавшись всем телом, прильнув горячей щекой к его шее – Ленка...

Ему тут же захотелось сплюнуть, да во рту было сухо. И зачем только вспомнил про неё? Променяла. Всю жизнь разорвала, как штанину на тряпки...

Звук моторов стихал вдали.

– Хорошо. Вот, пускай теперь докажут... тца... что это не шелупонь юрасовская спичками баловалась. Может даже, эта вон самая...

– Почему шакалятся? Что за слово такое? – ещё раз спросил Артём, но Тоха не ответил.

Вставать Артёму не хотелось. Только сейчас он почувствовал, как с непривычки гудят ноги и нудно тянет в пояснице. Но он всё-таки встал, поднял блеснувшую алюминиевым боком канистру и поплёлся вслед за Тохой, угрюмо глядя себе под ноги. В затылке запульсировало с новой силой.

Темнело – казалось, что мир и без того серый, становился всё тусклее. Время от времени, отрывая взгляд от земли, Артём видел, как приближаются дома – их редкий деревянный порядок расходился в стороны, как мехи баяна. Уже отсюда была видна их старость. Заросшие палисадники – то кустами одичавшей малины, то жёлтыми оползнями хмеля, то совсем непонятно чем. Голые деревья растопыривались узловатыми ветками: яблони, груши, сливы – отсюда не определить; лишь выделялись на фоне серости белые, как в мыльной пене, берёзки. А из всего этого плетенья стеблей и

веток торчали железные колпаки крыш, да кусками порванных картинок виднелись фасады – некогда яркие, синие или красные, а теперь словно отёртые пемзой. Вот выглядывал из кустов чёрный стеклянный глаз окна в толстой подводке резного наличника. Тут аккуратная ставенка. Коегде на повёрнутых к улице фронтонах зияли небольшие провалы чердачных окошек. Вот сорванный жёлоб отлива повис нахмуренной бровью. Изредка проглядывались резные узоры на причелинах и еле видные отсюда зубцеватые «серёжки» на подзорах. Маленькие крылечки по-щенячьи прижимались к домам, сами напоминая маленькие домики двухскатными крышами, резными стойками.

Артёму уже было видно, что от рогатых столбов электропередач только к некоторым домам тянутся провода. Да, жизнь в Шушунах была редкой, разрозненной. Многие дома пустовали, а те, что не пустовали, заполнялись лишь в летние месяцы, на неделю-другую, когда из дальних больших городов приезжали дачники – попить пива, пожарить шашлыков, сходить с удочками на Червянку или, поддавшись трудовому зуду, поковырять лопатой землю или прибить какую-нибудь доску к дому, что достался от матерей, а то и от бабок. Но и дачников было с каждым годом всё меньше. Сейчас здесь и вовсе было пусто. Улица походила на что-то летаргически сонное, будто вступающие в права сумерки упокоили каждый дом, все их тесины и брёвна, оставив в глухонемом вселенском безлюдье – до бесконечно далёкого теперь лета. И только они, Артём и Тоха, двигали прямо к центру застывшего уличного порядка: ведь если не всё сгорит, может, ещё придётся сходить, ещё доплатят...

Тоха зашёл на новый круг, повторяя о красивой жизни, ровном асфальте. «Здесь будет город-сад!» – только и вонзилось Артёму в ухо. Но чем ближе они были к домам, тем

голос у Антона становился всё тише, превращаясь в невнятный шёпот, а шаг быстрее, и Артёму поневоле пришлось приноравливаться, чтобы не отстать. Задыхаясь от непривычного хода, Артём обратил внимание: Тоха теперь сгорбился, будто некая сила заставляла его хорониться на ровном месте. Он и сам вдруг понял, что втянул голову в плечи не только из-за холода.

Дорогу они и вовсе перебежали, точно та обстреливалась. Хотя и дорога-то была – две еле заметные полосы.

Они повернули за заросший сухой крапивой палисадник и упёрлись в высокий, чёрный от времени забор.

Тоха остановился. Артём опустил на землю канистру и принялся растирать озябшие руки, всю дуя на них горячим, сиплым от усталости дыханьем. При этом он медленно оглядывался, тупо подмечая, что и палисадник-то не палисадник, а так – жердины обвалились, из заострённых штакетин осталось, дай бог, две-три. А дом ближайший чем-то отдалённо напоминает его отчий, что был когда-то на улице Столовой. Вот так же слегка подседал он к одному краю, где фундамент начинал сыпаться. Вот так же фронтон поднимался высоким синеватым лбом, и что-то общее было в запертых на крючок ставнях. Только наличники в его доме, кажется, были простыми, а не как тут, волной, с вырезанными сердечками посередине. Артём глядел на дом, и ему вдруг подумалось: если полы внутри не вздулись, не пошли кривым плясом – в таком вполне ещё можно жить.

Он поглядел вверх: тучи грузно скреблись о печную трубу. Ветер крепчал, становился ледяным.

«А ведь так огонь до Юрасовской улицы догонит», – пришла вялая мысль.

– Тоха, а ты взял...

– А как же! – не дал закончить Антон. Будто прочитав его мысли, он вытащил из кармана джинсов синий кирпичик кнопочного телефона. – Во! – И, переходя на какой-то пародический бас: – Вот если разойдётся – в пожарку! И город не сгорит, и хлопцы, глядишь, медальку какую получают. И всем хорошо. Только без лишних слов – горит, мол, и всё! И телефончик – в огонь. . . Эх, – сказал он уже своим голосом, засовывая телефон в карман. – Такую дрянь. . . Получше-то пожалели.

– Да, – откликнулся Артём, от холода лязгнув зубами.

Тоха вернулся к работе – всё это время он возился с забором, поочерёдно давя плечом на каждую доску. Одна из них наконец-то хрустнула, переломившись пополам. Тоха свернул одну часть, отодрал вместе с гвоздями другую.

– У, гнилушка, – недовольно просипел он, взвешивая деревяшку в руках. – Давно пора это всё. . .

Но фразу он не закончил – отбросил кусок доски, поднял канистру, полез в образовавшуюся щель.

Артём тоже нехотя взял свою канистру и протиснулся вслед за ним.

Двор встретил ветками, что словно в защиту старались ткнуть прямо в лицо. Весь он зарос худыми сорными клёнами со сливово-фиолетовыми верхушками, на которых вместо листьев висели сухие крылатки. Антон ломился через этот нарождающийся лес, как медведь, отощавший за долгую зиму. Тихими выстрелами ломались гибкие ветки. Где-то поодаль шумно взлетела стайка воробьёв, будто их горстью подбросили в воздух. Артём шёл, прикрывая свободной рукой голову, стараясь, чтобы согнутые Тохой ветки не хлестали по лицу. Под ногами шуршал ковёр из коричнево-жёлтых листьев.

Тоха остановился – Артём едва не ткнулся ему в спину. Здесь было чище – свободная от клёнов прогалина шага в



четыре. Лишь в самом центре его торчал невысокий орешник с не успевшими облететь янтарно-красными листьями.

Задняя сторона дома оказалась рядом – вся обитая плитками ДСП; от дождей они разбухли, щедро осыпавшись стружкой. Сиротливо выделялась только замкнутая на висячий замок дверь да маленькое, в две ладони, оконце. Через ветки проглядывались бесформенные груды сараев, точно выползшие из мерзлоты спины мамонтов. Тоха, постояв мгновенье, с хозяйской сноровкой полез в их сторону. Артём пошёл было следом, но сделал только пару шагов, как Тоха вернулся с охапкой досок и свалил их у орешника. Он снова куда-то пошёл, теперь в другую сторону. Артём и тут успел всего пару шагов сделать – полая, как дудка, гнилуха полетела из Тохиных рук в кучу. Тогда Артём поставил канистру на землю, сунул руки в карманы. С бестолковой, тупой, как пинок, тревогой Артём понял, что не знает, что ему делать и куда себя деть. Они ведь даже не говорили об этом, всю ночь напролёт пьяно строя планы на незаработанные ещё деньги, да восхищаясь невидимым ещё юным городом... Да он и сам ни разу не подумал: «А как будем жечь?»

Ветра тут не было – не проходил сквозь заборы и ветки, но Артёма уже трясло так, что стучали зубы, протряхивало до самой сжавшейся вдруг души. В сухом горле саднило. Ледяные мурахи бегали по спине.

«Ну вот, – со злобой подумал он. – Соплями изойду».

Груда веток и досок поднялась меж тем чуть не до пояса. Тоха подгрёб сухие листья ногой, взялся за канистру.

– Ну, – сказал он, размыкая её железное горло.

Синеватая жидкость плеснулась на кучу.

Суетясь, Тоха опять полез в сторону сараев, почти пропал там, затем неожиданно появился у дома, щедро поливая бен-

зином и стену, и маленький, в три ступеньки, порожек. От кучи потянуло резким, прошибающим до затылка запахом.

Тоха вернулся к Артёму. Крышка канистры с металлическим щелчком встала на место. Тоха похлопал себя по карманам и, наконец, нашарил спичечный коробок. При виде спичек Артём с удивлением подумал: всё это время – сколько они там шли – час, полтора? – он так ни разу и не закурил. Язык начал пухнуть – так захотелось втянуть в себя тёплый табачный дым.

Тоха чиркнул спичкой – маленький огонёк загорелся в согнутой ковшом ладони. Тоха поднёс его к раскрытому коробку – тот с шипеньем превратился в огненный шарик, который тут же полетел в кучу.

Огонь вспыхнул, громко охнув. Артём отпрянул, но тут же приблизился вновь. По сторонам бросились тени. Мир будто бы дрогнул, сделал невидимый поворот вокруг оси, в центре которой горел костёр. Рыжие языки, приплясывая, потянулись вверх, пытаясь взобраться на небо. В лицо Артёму дыхнуло жаром. Ему вдруг стало легко, будто огонь разом выбил из тела и холод, и похмельную тяжесть. Ушла из затылка боль, и весь он распрямился, подался вперёд, чувствуя, как расходятся в неясной улыбке губы. Щёки его враз покраснелись. Он протянул огню руки, и в них начало приятно покалывать – будто старой кожей слезал с них уходящий холод.

– Ну, – довольно протянул Тоха, – как?

– Хорошо, – искренне ответил Артём, чувствуя, как здорово дышать горячим воздухом, как приятно втягивать его в лёгкие, раздувая грудь так, будто он никогда ими и не дышал. – А я тут чуть не околел! – усмехнувшись, добавил он.

– Что? Да я для тебя такой костёр сейчас забабахаяю! Да я ради тебя... Ты ж друг мой – мне для тебя ничего не жалко. Не такой я человек, чтоб друзей в беде бросать!

«Эх, – подумал Артём. – Жалко всё-таки, пузырь с собой не взяли. Сейчас бы накатить да пройтись по этой улице в пьяную обнимку. Да орать во всю глотку песню – один пёс, какую!»

Огонь гудел, потрескивал. Языки его дрожали, то взлетая, то опадая, переливаясь от жёлтого к оранжевому, от оранжевого к пурпурному, от пурпурного к багровому, – и плясали, плясали, плясали. Струя дыма текуче поднималась по орешнику, и оттуда, из чёрного нутра, сыпались красные листья, вспыхивая на лету.

От тепла у Артёма заслезились глаза. На душе становилось всё веселее, всё развязнее. Он вновь распахнулся, едва не сорвав пуговицы. Он по-дружески ткнул Тоху в плечо, заметив, что и тот ухмыляется в тридцать два зуба. Огонь бросал на Тохино лицо гротескные тени, от которых глаза казались бездонно впалыми, а нос непомерно большим – Артём чуть не заржал в голос.

А мир за кругом огня, наоборот, показался Артёму теперь тусклым, будто там и не было ничего. Он поглядел вверх. Дым загибался в вышине кочергой; там, где ветер подхватывал его, в сторону невидимого, а может, и не существующего города, тянулась чёрная, широкая, как трасса, полоса, будто пропаханная в тёмных облаках. От зрелища чёрного, давящего небосвода у Артёма закружилась голова.

Тоха как-то медленно, опасно вытащил из огня палку, горящую с одного конца, как факел. Он помпезно вытянул её вперёд, словно только что сворованный Прометеев огонь.

– Ну, – громко сказал он, – с Богом!

И швырнул её в сторону дома.

Палка стукнулась о стену, плюнулась искрами и, совсем потухнув, упала на бетонную отмостку.

На какой-то момент Артёму показалось, что ничего не произойдёт. Но тут на шершавой, как старческая кожа, стене возникла красная змейка. Огонь разлился, пополз всё выше и выше.

Тоха вытянул из костра ещё одну головню, кинул в ближайšie кусты. Там тоже покраснелось. Какая-то полая будылка засвистела свистом, переходящим в вой.

Но тут дым от костра неожиданно побледнел, опал горьким, удушливым облаком.

– Тёмыч, – кашляя, выдавил Тоха, – ходу!

Они похватали канистры и, согнувшись чуть ли не до земли, попытались вырваться из объятий дыма – дым всё никак не кончался. Ничего не видя, Артём налетел на толстый, в ногу, ствол. Часто моргая, он пытался привыкнуть к щиплющей темноте, залившей глаза после яркого огненного мерцанья. Но вот, наконец, вечерний холод обдал сыростью. Артём различил новый невысокий забор с широкими прорезами. Откуда-то взялась сила – густая, пружинистая, приятным жаром заполнившая всё тело. Выдыхая целые дирижабли пара, он первым нырнул в прорезу забора.

Этот двор оказался теснее из-за сараев и каких-то бестолково сколоченных кильдимов. Повсюду валялись коляски неколотых дров. Артём открыл свою канистру и с оживлением, даже азартом стал поливать всё – и землю, и дрова, и столбы, и бока сараев. Бензин с глыканьем плескался наружу. Заметив в траве черепаший горб алюминиевого таза, Артём с досадой успел подумать: «Надо было пройтись сначала, собрать всю железку – хороший бы вышел прибавок». И одновременно удивился: «Неужто юрасовские сюда не лазали?» Артём разошёлся так, что даже плеснул бензином на бетонные вьюшки колодца, прикрытого шифериной.

Следующий забор был крепким, тесины прижимались друг к другу вплотную. Не сговариваясь, они с Тохой попытались выбить одну из них, одновременно пнув. Тесина поддалась только со второго удара. Они пролезли в образовавшееся отверстие – спеша, не желая пропускать один другого.

Новый двор был просторней, чище. Травы тут, кажется, не было вовсе. Земля рассекалась линиями утоптаных дорожек, а между ними в рыхлом паханном грунте рядами торчали привязанные к кольям мумии помидорной ботвы и похожие на кулаки подгнившие капустные вилки. По стенам забора стояло несколько аккуратных сарайчиков, деревянный нужник и пара клетушек на высоких ножках – видимо, когда-то держали кроликов. Слева от Артёма поднималась утёсом прикрытая клеёнкой поленница. Сам дом и отсюда, со двора, щеголял резными причелинами и витиеватыми наличниками на окнах. Голубоватая краска на стенах облупилась, но осыпаться ещё не успела. На фронте под самой крышей висел лосиный рог телевизионной антенны. По всему видно – дачники гостевали тут летом.

Артём плесканул бензином на поленницу. Тоха ринулся к сараям.

В канистре у Артёма осталось меньше трети. Он не стал транжирить: подошёл к дому вплотную и, стараясь не проливать на землю, начал обрызгивать стены, красную дверь, невысокий порожек. От запаха бензина во рту сделалось горько. Артём пытался не смотреть назад, но и так чувствовал, как через двор всю уже трещит, всю гудит и ухаёт огонь. Мир с того конца будто подсвечивался яркими жёлтыми фонарями. Краем глаза он всё-таки замечал тюрбаны пламени, время от времени взлетающие выше заборов. Огонь будто змеился, замороженно плясал, как вызванная

факиром кобра. Дым плыл над головой так низко, что до него, казалось, можно было дотянуться.

Тоха возился на другом краю двора, обливая бензином кроличьи клетки.

– Тоха! – крикнул Артём неожиданно сломавшимся голосом. – Стой!

Артёма пригвоздило к месту. Ему показалось, что не чьё-то лицо пялится на него из-за перекрестья оконной рамы, а сам приговорённый к сожжению дом смотрит...

Какое-то время Артём так и стоял – согнувшись, прижав канистру к груди. Затем, не отдавая себе отчёта, бросил канистру, перемахнул через порог, рванул дверь на себя. В лицо ударило домашним, пахнущим блинами теплом. Артём ввалился внутрь, стукнувшись бедром о зазвеневший стеклом сервант, завернул в правый дверной проём. Так и есть: там, у окна, обернувшись теперь к нему, сидела то ли на табуретке, то ли на каком-то ящике старуха – худая, с узким, сморщенным, как сухое яблоко, лицом. Беззубый рот у неё был сомкнут. Под правым глазом, размером с пятак, краснело неровное родимое пятно.

И ничего больше Артём вокруг не видел. Кажется только, что под потолком, покачиваясь от ворвавшегося потока воздуха, горела тусклая лампочка, да прошмыгнул под ногами рыжий кот. Артём не мог оторвать от старухи взгляда. Он видел, что одета она в тёплый плотный халат неопределённого цвета, поверх которого вязаная серая безрукавка. Голову обрамлял шерстяной платок, завязанный под подбородком. Сложенные в замок, костистые ладони покоятся на коленях. А глаза – водянисто-голубые, почти прозрачные – глядят ему в лицо, не мигая, со звонким, испуганным напряжением.

Артём услышал, как, топая, в дом ворвался Тоха, и теперь, тяжело дыша, глядел поверх его головы.

Артём не знал, что ему делать. Его сковало – он, кажется, даже и не дышал. В голове стало как-то отчаянно пусто. Какая-то непонятная мусть полезла ему в глаза. Но тут губы его сами собой разомкнулись, и он, будто против воли, тихим, безжизненным голосом вывел:

– Мать, уходи отсюда. Пожар.

Но она не шелохнулась, даже не моргнула – так и сидела, будто вырезанная из дерева идолица.

– Она же... – Тоха сдавленно дышал ему в ухо. – Она же видела, как мы...

«Господи, – подумал Артём. – Что она, глухонемая, что ли?»

И уже громче, настойчивее добавил:

– Уходи! Пожар тут!

Он почувствовал, как тяжёлая рука впиалась ему в локоть, с силой развернула. Они оказались с Тохой нос к носу. Артёма обдало горячим, как кипятком, Тохиным взглядом.

– Ты что, не понимаешь? Она же видела, как мы... Это же решётка!

Артём понимал. Он понял это сразу, как только увидел лицо за стеклом, и понимание бельевыми прищепками вцепилось ему в кадык. Понимание – будто к сердцу привязали груз, и оно, надсадно стуча, стало медленно, холодно опускаться куда-то вниз. Решётка. Потные – не продохнуть – камеры. Жёсткие шконки. И на долгие, тянущиеся как кисель годы небо в клетку...

Артём, набычившись, вырвал свой локоть из Тохиных рук, вновь повернулся к старухе.

– Вставай! – крикнул он ей. – Уходить надо! Погорим тут все!

Артём услышал, как Тоха, топая, выскочил из дома, но тут же вернулся.

– Пойдём уже, – теряя терпение, как ребёнку сказал Артём. Но старуха всё сидела, видимо от испуга не в силах пошевелиться.

Артём понимал, что должен сделать к ней шаг, поставить на ноги, но приближаться ему было страшно. Было страшно приближаться, как к горю, к жёсткой, полумёртвой судьбе. И словно какая-то сила – старше его, сильнее его – старалась выдавить его из дома наружу. Будто чей-то шёпот лез ему в ухо: «Ничего этого нет и не было никогда! Уходи, кажется тебе».

Артём, наконец, смог разглядеть, что в дальнем конце комнаты на стене висит узорчатый ковёр, а под ним поднималась кровать на высоких ножках, прикрытая белым пухлым одеялом. А старуха сидит всё-таки на табурете, а рядом с ней стол, на другом конце которого немая коробка выключенного телевизора. По левую от Артёма руку оказалась не стена, а выбеленный бок печки, от которой всюду тянуло теплом.

Артём решил – стряхнув невидимые, непомерно тяжёлые оковы, сделал шаг. Но старуха, видимо, всё-таки поняв, что от неё хотят, стала медленно, дрожа подниматься сама. Одной рукой она оперлась на край стола, другой достала стоявшую за спиной палку с выструганным под ладонь сучком. Артём заметил, что за оконным стеклом начало светиться, будто там, среди тёмного уже вечера, загорался робкий, неясный рассвет.

– Тоха, – сказал Артём сухим, бесцветным голосом. – Звони. Пускай тушат.

– Тушат?! – сорвался на крик Тоха. – Тушат?! Да брось ты её! Это же решётка!.. Ты что, не видишь, она уже своё!.. Ей, может, жить два дня и осталось!

Артём всё-таки взял старуху под локоть, ощутив, будто под рукавом халата и нет ничего – так, одна тонкая косточка. Глядел Артём себе под ноги – жутко было встречать-



ся с её беспомощным, испуганным взглядом, жутко было глядеть в лицо. И какой-то тугой, непроглатываемый ком перекрыл ему глотку. Оборачиваться не хотелось и уж тем более не хотелось отвечать, но опять, будто зацепленный рыболовным крючком язык зашевелился помимо воли, и Артём сквозь зубы выдавил:

– У меня тоже мать есть. – И тут же поправился: – Была.

Старуха встала – сгорбившаяся, оказавшаяся ему по грудь. Артём осторожно потянул её за собой не глядя, спиной выходя из комнаты. Что-то белое и пустое раздувалось в его голове. «*Решётка*, – подумал он, – *решётка*». Он ещё раз постарался сглотнуть ком в горле, постарался не думать – ни о чём не думать.

Однако сильнее всего не хотелось наткнуться сейчас на Тоху. Не хотелось видеть его, ловить на себе бешеный взгляд. Хотелось, чтоб он, наконец, ушёл или просто исчез. И на какой-то момент ему и впрямь показалось, что Тохи нет рядом.

Но тут крепкая рука с дикой силой развернула. Артём почувствовал, как в бок что-то ткнулось.

Тоха отшатнулся. В узком просвете между ним и собой Артём с фотографической ясностью увидел блеснувшее, как серебро, лезвие ножа.

Небольшое, в палец длиной – ровное, чистое, без капли крови.

«Промазал», – подумал Артём.

– Су-у-ука!..

Но тут накатила боль, будто там, прямо в кишках, что-то разорвалось.

Артём раскрыл рот, не в силах ни выдохнуть, ни вдохнуть.

– Ну и подыхай теперь тут, – отчётливо донеслось до него.

Тоха быстро сунул ножик в карман и, резко развернувшись, выскользнул в открытую дверь, в густые дымные клу-

бы, что уже заволокли мир, – растворился в них, будто и сам состоял только из режущего глаз дыма.

Перед Артёмом всё затуманилось, поплыло. Он запустил ладонь под рубаху, и, хоть рана оказалась выше, а жидкость из неё сочилась горячая, густая, он с огорчением подумал: «Вот, обмочился».

Дым лез в дом, волной струился по потолку – всё Артёму виделось как через воду. Он развернулся к старухе, чуть не повалившись. Старуха попыталась отступить, но Артём крепко ухватил её за тёплую сморщенную ладонь. Сгибаясь от боли, прижимая рану рукой, он вновь потащил её, теперь в другую сторону, ведь где-то там должна быть другая дверь – на самую улицу.

Слеповато моргая, он налетел на какое-то ведро, ударился ногой о трюмо с распахнутым в объёмах зеркалом, но практически не почувствовал этого. Тело его стало бесчувственным, глухим, как соломенная набивка; только одно жило, жадно вопя, горя и пульсируя – рана, будто в неё сунули раскалённую головню.

Артём уперся в дверь, надавил плечом – та не поддалась. Из глубин, от самой диафрагмы, поднялась паника, но он тут же сообразил, что дверь нужно тянуть на себя.

Петли заныли. Дверь, скрипя об пол, тяжело отползла и застряла, не раскрывшись и наполовину. Дверная ручка, густо измазанная теперь кровью, скользнула под слабыми пальцами.

Артём сгрёб старуху и, поражаясь её лёгкости, будто это был слабо дрожащий, обёрнутый в халат пучок сухих веток, полез в образовавшуюся дверную щель.

С крыльца он чуть не упал, промахнувшись мимо ступени, но чудом смог сохранить равновесие – он только сильнее прижал хрупкое тело к себе.

Узкая тропинка – разросшийся голый крыжовник предательски цеплялся за штанины.

Калитка скрипнула хрусткой пружиной.

Артём чувствовал: силы его отходят. Перед глазами дробилось и множилось. Ноги по-пьяному гнулись.

Ощущая, что больше не может идти, он толкнул старуху впереди себя, а сам повалился на землю, обессиленный окончательно – раскинув руки, лицом вниз.

Бешено, до скулежа хотелось жить.

Земля была холодной, как лёд. Трава пахла сухостью. Сиплым свистом из горла выходил воздух. Артём лежал, но всё чудилось ему, что он падает. Казалось, что мир вокруг него дрожит и кружится, издавая дикий, сводящий с ума гул. Всё нарастающий гул огня, с жадностью, с хрустом пожирающего старую, как кровная память, улицу. *«Господи, за что? Пускай всё закончится!»* Ему чудилось, что ноги и спину обдаёт уже жаром. И ещё – отчётливее всего – он чувствовал, как с каждым надсадным ударом сердца напрямик утекает в землю, выходит из тела густая горячая его жизнь. И что-то громко трещало, будто миру ломали кости.

*«Да я ради тебя!.. Здесь будет город-сад!.. Решётка... Это же лиу-у-уди!..»* – бессмысленно и тупо билось в голове.

Тут ему начало мерещиться, что земля стала шевелиться, уползать, скребясь буграми травы о пульсирующую дикой болью рану. Артём хрипло застонал, почувствовав, как какая-то сила переворачивает его лицом вверх. Чернильное небо заглянуло в полные слёз глаза. Небо было похоже на угольную плоску, с одного края расцвеченную кроваво-красным. А с другого края неба смотрело на него перевёрнутое, бледное как мел, лицо. Над верхней губой на фоне бледности выделялся тёмный пушок.

– Звони, – не размыкая губ, умоляюще протянул Артём.  
– Пусть тушат...

Но понял, что не услышат, – сам себя не услышал.

Он поводил глазами и увидел, что поодаль стоит девчонка с двумя чёрными косами. Она истерично, захлёбываясь, рыдала, прикрыв рот тонкими ладонями, глядела куда-то в сторону, и огненные блики ложились на щёки ярким румянцем. В ней Артёму неожиданно померещилась его дочь – такой взрослой, какой он никогда её и не видел... С лопающимся сердцем ему захотелось как-то утешить, чтобы она никогда-никогда больше не плакала, никогда больше так не пугалась.

«Ну перестань, – мысленно сказал он ей. – Куплю я тебе подарок на деньги эти проклятые...»

И тут он увидел старуху. Две спины, две фигуры – одна худая и юная, другая сторбленная, еле переставляющая ноги. Юноша с длинными лохматыми волосами вёл её, поддерживая под руку, принимая на себя вес сухого старого тела, к стоявшим поодаль дребезжащим «ижам». При виде старухи на душе у Артёма стало, наконец, спокойно – ощущение сытым домашним теплом разлилось по его груди.

«Ничего, мать, – сказал он ей мысленно. – Мы ещё поживём. Отстроим всё как было. Вот теперь – поживём».

И ему вновь захотелось сказать, вложив последние силы и всю свою боль, всем и неизвестно кому: «Пусть тушат!» Но в голове окончательно спуталось: кто тушит, что тушат?

Он только услышал, как где-то далеко – за гулом и треском пожара, за звериной песней мотоциклетных движков, за истошным девичьим рыданьем – сухо, барабанисто прокатился гром.

И, уже теряя сознание, Артём почувствовал, как на лицо упали первые капли холодного осеннего дождя.

# ТУМАН

*Деду,  
Лукьянову Александру Трофимовичу  
посвящаю.*

**Д**ымок от затушенного костра поднимался тонкой струйкой, еле видной в сумерках. Шумели сосны, покачиваясь на ветру, гуляющему высоко. Кряхтела груша-дичка посреди поляны скошенной травы, как старуха, что через боль в костях ещё старается что-то сделать – прибрать, подмести, – так и она вот-вот согнётся и прикроет голыми от старости ветвями флягу с холодной питьевой водой.

Весь день мы сгребали сено в валки, и они лежали теперь, как выползшие из-под земли, в темноте, на лесной поляне.

От работы гудели руки. Усталость жгла под веками. Хотелось спать, но после дневной жары было зябко, и комары зудели, лезли в лицо. А укрыться от них с головой – дышать тяжело, душно, да и куртки пропахли дымом.

Я ворочался с боку на бок, вытягивал ноги, замерзал, укрывался, сбрасывал куртки, махал руками, отгоняя комаров; застеленная сеном телега казалась мне узкой, а воздух – душисто-сладким.

Отражаясь в тракторном стекле, зажигались звёзды. Над верхушками сосен встал яркий месяц, осветив скатерть поляны, валки, заросший обрывистый берег. Мне всё ещё чу-

дился в руках гладкий черенок граблей, и казалось: вот-вот – и снова вставать, сгребать, но теперь уже звёзды в одну большую бриллиантовую копну. Ворочаясь, я видел поляну, и она при лунном свете всё уходила вдаль, расширялась и сливалась с соснами где-то совсем далеко. Как вдвоём её осилили – ума не приложить.

Да, сна не видать – хоть вставай. И вправду встать, что ли, взять удочки, попробовать порыбачить... Битюг здесь глубокий, одни омуты. И вода ледяная. Пот смыть и то страшно, из ведра охлынёшься – сердце застывает. А месяц уже там, должно быть, в реке, точно слиток золотой на дне лежит. И звёзды блестят, заглядывают в белые глаза кувшинок... Нет, раз лёг – уже не встать, лень. И дед не спит – шумно зевает, вяло отгоняет комаров. А может, я ему спать мешаю...

От Битюга поднялся густой туман, как молочно-белый дух реки. Низко стелясь, он пополз во все стороны. Коснулся груши и фляги у её ствола. Упёрся в тракторные колёса. Скрыл под собой сундучок с едой и деревянные грабли.

– Да, тогда тоже туман был, – сказал дед как самому себе. Я повернулся к нему и так же тихо спросил:

– Когда? В прошлом году?

Дед лёг набок и засмеялся, как смеются старики, тяжело втягивая воздух.

– Ну уж, «в прошлом году»! Годков много прошло...

Он замолчал. И я молчал тоже. Тишина, казалось, гудела, мучительно что-то храня в себе.

Хлопнув комара на шее, я не выдержал:

– Ну что? Туман – что?

Дед повернулся на спину и грубой ладонью потёр щетиный подбородок:

– Годков много прошло... Да-а-а... Ещё в войну. Это сколько?.. А-а-а, девятого скажут. Девятого всё: и как губи-

ли, и как бомбили, а десятого – молчок. И то хорошо. Хоть так... – Он вздохнул, пожевал губами. – И то... Мы раньше работали, не то, что нынче. Денег им подавай побольше, хлеб с маслом. Мы работали, так работали. Зачем, для чего – знали. А сами – четырнадцать годков. Худые, как спичка, хоть на фронт посылай – в упор стреляй, не попадёшь... Э-хе... А лето – тут наскребай мозоли. Колхоз. И дома в стороне не стояли. А вечером с колхозным конюхом, Зелёновым дедом, коней в ночное гоняли. Зелёнов Алексей Иваныч – был такой. Старик. В фуфайке ходил зимой и летом. Чёрная такая, засаленная, аж блестит. Вот тебе: зимой и летом одним цветом... Нас человек десять одногодков. У каждого лошадь своя, любимая. Кто себе выбрал – чужой не тронь, а то получишь. Ну, какая там драка – потолкаемся, а потом сопли утрём, и опять не разлей вода. Обычное дело: повздорили, поспорили – и ветерком выдуло, как не было ничего... Да, такие дела... И вот у каждого лошадь «своя», и он вокруг неё так и вьётся, так и вьётся... У меня Весёлый был. А чего Весёлый? Чёрт его знает! А так смотришь – улыбается вроде глазами. Казалось... Раз Весёлый, так улыбаться должен... И мы, значит, играем, боремся, то скачки устроим, то ещё что... Да-а-а, вот... И то, какая это работа? Забава одна. Друзья, лошади тут, целый вечер смеху, аж щёки дубеют. А тут, вечером тем, на Бабые болото поехали. Дед травы накосил, а мы её в кучу – постель вроде... Кхэ!.. – Дед громко закашлял, прикрыв рот кулаком. Доски телеги слабо скрипнули. Дед вытер губы. – Во-о-от... Тут уж ночь. Глаза слипаются. За день намаялись, ноги как мякоть. Травы... кхэ... настё... кхэ... настелили, зарылись в неё, а холод – не уснёшь. Дрожим, ворочаемся, глаза слезятся, холод до костей. Ну, слезалась трава. Согреться стали кое-как... по чуть-чуть, помалу. Тут уж угомонились...

Да, тут уж не заметишь, как уснёшь – с усталости, в тепле... А дед Зелёнов в подводе спал. Он любил там. Каждый раз...

Дед замолчал. Он лежал на спине, сложив руки на животе поверх курток. В свете луны было видно, как он вытянул губы, будто вспомнил какую-то старую мелодию и собирался тихо её насвистеть. Он зевнул – сладко, протяжно. Продолжил:

– Сколько спал, не помню. Проснулся – только брезжит. Туман кругом густой, как сметана. А начинается вот так, в полуметре от земли. Я на колени встал – голова в тумане, а сам нет. Туман сырой, холодный. А мне интересно. Туман вверху, а над землёй видно. Лошади вдали ходят – одни ноги видно. Чудно так... Ладно. Смотрю, лошадь одна ближе идёт. Я... Сердце как об сковородку бьётся. Какая ж это лошадь?! Ноги человечьи! Двое идут и как-то медленно, с опаской, будто лишнего шума сделать боятся. У меня во рту пересохло, воздух холодный аж до кишок проходит. Ближе... Ближе... Я лёг как мёртвый. Страшно – жуть. А эти – ближе. Через туман фигуры видно, размыто так, еле-еле, а видно. Сердце – и в горле, и в ушах. А они вплотную уже. Мне и дышать страшно. Сердце щемит, всё громче, громче бухает, вот-вот, думаю, услышат. И шевелиться боюсь – заметят. А затылок, как назло, чешется, и шея немеет – вот хрустнет... А они на меня, сейчас на ногу наступят... Смотрю, остановились. Сквозь туман фигуры просвечивают, а что там на них, какие они – не видно. Ну, думаю, и меня не видно... А может, услышали? Стоят, прислушиваются: где это сердце бьётся?..

– Так чего боялся? – Я пододвинулся поближе. – Заблудились...

– Да... – Дед хмыкнул. На щеках его заиграли желваки. – Заблудились... Нашли где. Когда заблудятся, молчком не



ходят. Тихо так они, словно прячутся. А уж когда встали... Чего им бояться? А эти... и как стоят, и сапоги – обычные сапоги, а как-то... Всё так, да не так. Что-то... Как сказать, нехорошее... Человек, когда стоит, по нему видно. А эти... Да-а-а... И страшно, сердце разбухает. Дышу через раз, в груди жжёт, а всё громко как-то... Тут один нагнулся. По мне пот градом. На землю что-то ставит. Видно, вниз не смотрел, а поставил чуть не на ногу мне. Смотреть неудобно. Чемоданчик какой-то небольшой... Раньше у железнодорожников были. Коричневый... Саквояж, что ли?.. Железнодорожники с такими ходили – у них там ключи всякие, всё такое... Смотрю на ноги им, а они друг к дружке повернулись и молчат. Вот, думаю, сейчас нагнётся – и в меня глазами... Зажмуриться хочется, а не могу... Они развернулись. Тот боком согнулся так, ручку нащупал, поднял – в другую руку, стало быть, взял. Прочь пошли ... Уходят – дальше, дальше... И тихо, как с опаской – ступают неслышно. В сторону от лежанки нашей и от повозки ушли... Уж не видно их, и ног их не видно, а я всё лежу; дышать, шевелиться не могу никак... Сколько лежал, не помню. Тут уж туман бледнее, бледнее... Я кое-как, ползком к повозке. Мурашки по коже бегают. Знаю, ушли, а кажется, где-то здесь ещё – того и гляди в сапог упрёшься. Подползаю – дед спит, голову запрокинул. А если б захрапел?.. У меня ком в горле, слёзы к глазам подступают. Так захрапел бы – и всё... Подушили бы нас как котят. А дома тепло... и мать...

– Да, дед, на войне не был, а страху натерпелся...

– Да... – Дед потёр щёки, изрезанные глубокими морщинами. – Я деда Зелёнова за рукав, а он меня матом: иди, мол, отсюда, спи!.. Я всё тяну, рот разеваю, как рыба. Он проморгался спросонья: «Чего?» Я кое-как ему: «Два, два...» И пальцем: «Туда... туда!..» Он слез с повозки, посмотрел: да,

трава в росе, по росе хорошо видно – следы. Пальцем мне: «Молчи!» Сам лошадь поймал и поскакал в сторону села. Ну, в Хреновое то есть...

Тут уж совсем светло. Я стал ребят будить. А у самого холодок – это ж надо, думаю, ни одна душа не храпела. Тут каждую ночь кто-нибудь да устроит, а сейчас... Бог уберёт. Засвистел бы кто носом, и что тогда?.. Ребята сонные. На меня нуль внимания. А так ведь хочется, чтоб кто-нибудь спросил, куда это дед делся, и что это я такой?.. Дед молчать велел, а так хотелось сказать... Аж внутри ходуном ходило! И хочется, и нельзя... И весело так после страха. И гордость какая-то! Это ж не просто так! Это ж я молодец! Да-а-а... А тут внимания – нуль. Обидно, не приведи Господь. Собрались, лошадей домой погнали, а я всю дорогу представляю, как меня по плечу хлопать будут: «Молодец, Санёк! Герой – что ты!»

А в это время в здание школы солдат пригнали. И вот они все куртины, все солотя – как учение. Цепочкой выстроились и давай прочёсывать. То и дело: «Ура! Ура!» Вроде в бой идут. Вечером смотрим: солдаты на краю села появились. Четырёх человек ведут в железнодорожной форме... Все, кто был, на улицу высыпали, галдят, обсуждают: «Кто такие? Кто такие?» А я как крикну: «Это я! Это я их!.. Только их двое было!.. Я деду Зелёнову сказал!» И тут мне затрещина – в глазах потемнело. Я в слёзы. Мать меня за ухо – и в дом. «Молчи, собака, – говорит, – смерти нашей захотел?» Да... Немцы уже на Дону стояли. Хреновое бомбили... Здесь, на станции – эшелоны военные, а в степи самолёты стояли... Среди соседей были и такие, кто немцев ждал уже... А если б немцы в Хреновое пришли, чёрт знает, что б сделали за мой-то подвиг... И со мной... И с матерью... Со всей семьёй...

Дед лёг набок и закрыл глаза. Говорил он всё медленней, всё тише...

– Мне четырнадцать стало... в июле, сорок втором... Трактористом стал... В нашем отряде женщины, да такие, как я... В две смены работали: день, ночь... В полевом стане жили. Домой не пускали обмыться, одежду сменить... Ночью страшно... Глаза слипаются, а трактор без кабины. Задремлешь, и вниз... под колёса... Случай был... парнишка... уснул... Раздавило... По двое... стали... – Дед замолчал, дышал глубоко, ровно: уснул.

В первый раз в жизни я пожалел, что не могу видеть чужой сон. Снится ли ему туман, эти ноги или затрещина матери? А может, снится ему, как дурачились они, скакали на лошадях, вздорили и быстро мирились? Как были счастливы счастьем юности, той, которую не убьёт, не отнимет ни один враг, и в душе от которой останется самое доброе и светлое... Нет ничего ярче детства. Даже детства, в котором была война...

Отчего-то мне было грустно.

Туман исчез, лёг дух реки в своё извилистое крепкое русло. Чаем пахло сено. Луна уже много прошла, по-хозяйски вымеривая ночное небо. Комары пропали, видно, холодно стало для них... Да и что они нам теперь?..

Я потеплее укрылся куртками, но спать не мог. Я думал.

Да, это крохи, малые крохи... Но главное – не потерять их, сохранить. Сколько ещё нерассказанных историй? Сколько историй, которые уже никогда не будут рассказаны? Все их нужно узнать, все их нужно сберечь, донести до людей. Иначе погибнут они. Погибнут те дети, солдаты, те города и сёла. Погибнут наши отцы и деды. Погибнут... И уже не будет средств вернуть их обратно...

Утром мы погрузили сено в телегу. Солнце уже припекало. Железо тракторной кабинки нагрелось и жгло руки. Поляна казалась коротко подстриженной зелёной головой.

Взревел тракторный движок. Громкое эхо пролетело над Битюгом, заблудилось в деревьях, пугая птиц. Мы тронулись в путь по узкой лесной дороге, по колеям, ведущим домой.

Поляна осталась за поворотом, рассыпалась в частоколе сосновых стволов.

Сколько лет прошло, а ни разу не довелось мне вернуться туда. Уж и не знаю теперь, есть ли она ещё, та поляна? Цела ли та груша, тот обрывистый берег, ледяная вода? Да, есть история и память, но нет и не будет дорог, ведущих назад, в прошлое...



# ОСЕНЬ

*(Вольное переосмысление законов природы)*

Циклы. Циклы правят миром...

\* \* \*

Ярошенко затушил сигарету, втоптав её в грязные доски крыльца.

– Эй, – крикнул кто-то, – в сторону!

Он прижался к перилам.

Двое мужчин вынесли из дома носилки. На носилках... да... тело, труп. Нечто бесформенное, прикрытое занавеской. Из-под занавески, начиная от щиколотки, торчали ноги – толстые, опухшие, восково-жёлтого цвета. На левой – рваный тапок, вот-вот соскочит.

– Куда? – спросил нёсший спереди. Лицо его покрывала густая щетина, и морщины были на нём точно заросшие овраги.

– В машину, умник.

Кучка зевак, стоявшая у забора, зашевелилась. Некоторые о чём-то перешёптывались. Некоторые вытирали сухие глаза. Бородатый мужчина в джинсовой куртке кашлянул и громко заметил: «Опять чернеет! На дождь!»

Ярошенко всё стоял, прижимаясь к перилам, как самоубийца на мосту. На небе и впрямь собирались тучи. Похолодало. Из рта вырывались бледные клубочки пара.

Из полутьмы коридора появился участковый – низенький, с дряблыми щеками. Круги под глазами, как годовые

кольца, указывали на возраст, переведённый в количество выкуренных сигарет. Он тяжело дышал – будто издыхающая псина. Как знал Ярошенко, он дышал так всегда.

– Ну?

– Ножевых – тринадцать штук, – сообщил участковый низким голосом (Жданов – так, кажется, его звали). – И живот вспорот... – сдавленно, будто тошнота подступила к горлу.

– Знаю! Кто она? Чем занималась и почему?.. Зверство!

– Её тут каждый... Гнала! И как! Всё село травилось.

– И ты? – Для Ярошенко, в общем-то, было всё равно... Эта головная боль!.. Третий день одна и та же, будто голову сдавили в тисках. И насморк...

– Ещё чего! Лучше заплатить дороже...

Ярошенко, массируя виски, оторвался от перил.

– По паспорту: Крылова Анна Леоновна, тысяча девятьсот тридцать второго... («Как страшно, – подумал Ярошенко. – Как страшно, когда у кучи изрубленного мяса, которую только что пронесли мимо, есть имя, фамилия...») Детей нет. Прописана: улица Столовая, 95...

– Самогонщица, – промямлил Ярошенко.

– Ну да.

– За самогон... Или за деньги... Алкаши, чёрт бы их! Что украли? Деньги?

Жданов топтался с ноги на ногу; смотрел куда-то мимо, на полупустую, заросшую сухим бурьяном улицу.

Ярошенко проследил за направлением его взгляда. Тело давно погрузили в «буханку». Человек с небритым лицом возился с задними дверьми. Остальные курили. Соседи разошлись, лишь перед калиткой стояла с заплаканным видом женщина. Первое... действительно первое взволнованное лицо и единственные настоящие слёзы. Сад был ян-

тарно-жёлтым от опавших листьев. Две кривые груши казались чем-то мерзким, противоестественным в этом саду.

– Ну? Деньги?

– Мы не нашли. Если и были – немного. Она не работала. Пенсия – сами знаете... Самогон не брали последнее время. Теперь «палёнку» и в ларьке купить можно, из-под полы. Дешевле... Родственников нет.

Ярошенко спустился на пару ступенек, оглядел дом. Ветхое строение – чёрные, как земляная корка, доски с пятнами синей краски. Железная крыша. Покосившиеся рамы. Фундамент? Дом, казалось, врос в землю. Жильё для тех, кто никому не нужен. И тех, кому никто не нужен.

– Да и не грабили её... – совсем тихо сказал Жданов, подходя к Ярошенко.

– Да?

Казалось, участковому стало трудно говорить. Он открывал рот и тут же, щурясь, закрывал его. Лоб прорезали глубокие морщины.

– Ну? – вяло поторопил Ярошенко. Голова болит. «Аспирину бы... В аптечке поискать?»

– М-м-м... В общем... К ней не ходил никто... в последнее время. И она... Характер у неё был! Обматерить могла... В луже крови – след. И вещи разбросаны. Как разбросаны? В ящиках не рылись. Стол опрокинут, телевизор разбит. Натоптали – следы эти, кровавые, по всему дому. Вода в ведре красная – видно, руки мыли. У них одежда в крови должна быть... Отпечатки должны быть...

«Акт ещё!.. Какой из меня работник сегодня? Акт составлять...»

Ярошенко махнул рукой:

– Пока криминалист... Пока пальчики снимут. Пока то, сё... Сличать с кем? Всё село обкатывать?

– Найдём с кем. Свидетель есть.

Глаза Ярошенко расширились. Он удержал себя, чтоб не ткнуть кулаком в грудь Жданову.

– И ты молчишь! – Следователь почувствовал, как волна боли прокатилась по черепу. Он смягчил тон. – В твоих же интересах... Кто свидетель? Где?

Жданов показал рукой.

Та самая женщина. Красное болоньевое пальто. Заплаканное лицо. Что-то кавказское, нос с горбинкой. На верхней губе тёмный пушок, почти усы. На вид лет сорок... Ярошенко знал, что должен подойти, допросить. «Явитесь такого-то, такого...» Но остался на месте. Пускай Жданов занимается. Дебильное преступление... И благодарности не заработаешь. Кому это надо? Кому вообще эта бабка нужна? Бомжи... Будто дел у нас мало. С Ершовым поговорить надо. «Глухарь...» Тошнит уже от работы. И голова... Погода сопливая. Машину надо бы отремонтировать, поворотник что-то... Кто труп нашёл, интересно? За горло его взять! Или свидетеля этого.

– Она... Она видела... Это дети сделали. Пять человек. Лет по пятнадцать-четыренадцать. Девушка с ними – тоже школьница. Одеты хорошо. Корову загоняла, смотрит: идут. Темно было, но она ясно видела... Они дорогу под ногами... из телефонов... и друг на друга светили. Говорит, серьёзные были. Один только смеялся. И к дому напрямиком... Вошли не стучась. Дверь толкнули и вошли.

Ярошенко чувствовал... пустоту. Ведь правда: след в луже крови где-то тридцать девятого размера. Дети! Не первый случай... И хотя, по долгу службы, Ярошенко должен был сомневаться, но не мог. Он видел своими глазами кровь и вспоротый живот. Он ещё не знал всех составляющих, но опыт, опыт!.. Невиданная жестокость! Когда он стоял над



телом, нечто внутри его черепной коробки твердило: «Не всё так просто. Не всё! И ты знаешь это!» Верно – Крылову не грабили. Её убивали! Чтоб... чтоб показать свою силу. Потому что для них это было «круто»... Потому что она никому не была нужна. Всем на неё наплевать... Четырнадцать-пятнадцать лет! Это похоже на правду... О Боже, это и есть правда!.. Школьники! Тринадцать ножевых и вспоротый живот...

– Ей интересно стало. Сами знаете этих баб... Соседка – вон её дом. Корову загнала – и к калитке. Стояла, глядела... Окна грязные. Да и криков вроде не было... громких. Пацаны там долго торчали... Эту Крылову не любил никто.

Несмотря на холод, Ярошенко пробил пот. Господи, что творится...

– Милицию вызвала утром. У неё сын больной. Да и корову доить надо.

– Так она *это... видела?* – Следователь не узнал собственный голос. Он обернулся, поискал глазами женщину с заплаканным лицом. Но её уже не было. И почему? Какое право она имела плакать?

«Нет, – понял Ярошенко. – Она плакала не по соседке. Человеческая чёрствость не позволяет плакать по другим. У неё хватило ума понять, что, может быть, когда-нибудь – через неделю, месяц, год, когда она никому не будет нужна, – кто-то придёт и к ней. Те же пять человек. Те же школьники. Хорошо одетые школьники».

Ярошенко перевёл взгляд на Жданова и только сейчас заметил, как *мертво* его лицо. Кожа была до отвращения дряблой. Схвати за неё, потяни – она сползёт куском жёлтой тряпки. В глазах чудовищная усталость. Усталость от мира. Усталость от собственного существования.

– Так она *видела...* Она *знает, кто...* – голос Ярошенко был подобен скрипу ржавых петель.

– Ну да, – с удивлением. – У одного... у отца... три магазина. У другого...

– Где они? Почему не задержал?! – Ярошенко сорвался на крик. Люди у «буханки» побросали дела и с любопытством смотрели в их сторону, точно глядели милицейский сериал.

– Знаете что, – резко сказал Жданов, – вы, Геннадий Павлович, из района. Вы уедете. А мне здесь жить! Не моё это дело – за пацанами бегать. Кому нужна эта бабка? Мне лет немало. Я не хочу! Понимаете, не хочу, чтоб каждый встречный-поперечный тыкал мне в спину: «А, это он упрятал наших детей за решётку! Он упрятал моего сына в тюрьгу!» Это ваша работа! Поймаете вы этих сопляков или нет – ничего не изменится. А если я приложу руку – каждый будет тыкать мне в спину...

Ярошенко уже не слышал. Новая волна боли оглушила мозг. Он закрыл глаза. Боль, как цунами, наткнулась на берега рассудка, смела города сочувствия, ярости, интереса... Интересы к этому делу. К этой никчёмной старухе. К этим детям. Один раз они пришли. Может, больше они не придут? Когда что-то касается детей, любимых богатыми отцами... «С терроризмом надо бороться!» С терроризмом!.. Волна отхлынула, оставив лишь пену безразличия.

Он открыл глаза. Жданов стоял к нему спиной и курил. Серое облачко табачного дыма висело над его головой прогнившим нимбом.

– Геннадий Палыч! – Это был Славик, водитель. – Поедем, а? Криминалиста не будет. Сообщил только что – грипп.

Славик улыбался. Он всегда улыбался. Казалось, ничто не могло сбить улыбку с его лица.

– Сейчас... Слушай, кто это? – Следователь показал на людей, что ещё тёрлись около «буханки».

– Работнички, блин, – ответил Жданов. – Ждут, что вы им нальёте...

– Разгони их к чёртовой матери! Иначе я их рядом с бабушкой, на носилки...

Он посмотрел на небо. Чёрные тучи. Солнце казалось бледным размытым пятном. Становилось темно. И тихо. Он отчётливо слышал, как в груди бьётся сердце, точно резиновый мячик стучит по асфальту: бом-бом, бом-бом. Как хорошо! И головная боль прошла. Помимо воли Ярошенко сделал пару шагов, переступил через порог и оказался в тёмном коридоре. В коридоре дома, в котором была убита Крылова Анна Леоновна, тридцать второго года рождения. Убита? Сверху скажут: «Геннадий Ярошенко, не могли бы вы?..» Вот так...

Было темно, но глаза привыкли: открытая дверь давала тусклый свет. По левую руку – два красных газовых баллона. По правую – плитка, сковородки, банки. Ярошенко ощутил запах. Запах человеческих отходов. Он прикрыл нос рукой. Почему он не чувствовал его раньше?

«Кровь! Так пахнет кровь! – Для этой мысли не было причин, но сейчас он не мог думать иначе. – Когда-то у крови не было запаха, а теперь есть. Этот – запах человеческих отходов».

Он остановился перед дверью.

«Распахну её, а там, в луже крови, след тридцать девятого размера. И отпечатков детских, должно быть, полно... А, плевать! Дети? Почему бы и нет? Чем они хуже? Почему в них должно быть меньше зла, чем во взрослых?»

Рядом с дверью был шкаф. Лакированные дверцы. Пальцы сами потянулись к ручкам. Петли заскрипели... Внутри – Тьма! Целое море Тьмы! Бескрайнее, густое, как нефть. Маслянистые волны лениво вздымаются, угрожают вы-

литься наружу... Утробное рычанье разносится смрадным ветром. Над чёрными водами – белая тень. Уродливая, сияющая холодным светом, точно фосфоресцирующий скользкий гриб.

«Армия Тьмы уже топчет землю. – Тихий скрипяще-шипящий голос. – Время боли! Время страха! Яд в сердцах... Яд злобы. Яд безразличия! И все боги попраны. И каждый – сам себе бог! Чёрная кровь в гнилых венах... Армия Тьмы уже топчет землю. И нет никого, кто не шёл бы в её рядах!..»

Сердце застыло. Ярошенко протянул руку во Тьму. Пальцы вот-вот коснутся белого сгустка. Вот-вот... Рука коснулась. Схватила! Выдернула наружу... атласное белое платье. Точно пергамент плоти, на котором кто-то поставил кровью свою роспись.

Ярошенко со злостью захлопнул дверцы.

\* \* \*

– Ну? Сейчас дождь хлынет.

Славик накачивал переднее колесо.

– Кто ж знал!

– Слушай, у тебя было, будто в пустой комнате кто-то есть... Только попробуй заржать!

– Угу, – откликнулся водитель, не отрываясь от насоса.

– Было... Серьёзно! У меня... в гараже... угол есть... Тёмный... Кажется... как будто там... кто-то... И дыханье... и взгляд... мурашки по коже. Будто... спрашивает... «Достойн ли?»... А чего?.. Не пойму!.. Премии, что ли?..

Ярошенко достал платок и громко высморкался.

– О, Геннадий Палыч... Простыли!.. Осень... Погода... Осенью... человек всегда... болеет... Только не чувствует...

Витаминов нет... и солнца... Организм слабеет... Депрессия... опять-таки... Фу-у-у... Всё! Садитесь!

Ярошенко залез в кабину. Славик сел за руль, повернул ключ. Мотор взревел. «Буханка» тронулась с места.

Чернильные облака всё набухали и набухали. И через пару мгновений на землю хлынул ливень, превращая дороги и тропы в вязкое месиво.

\* \* \*

Циклы. Циклы правят миром. Дни сменяются ночами. Времена года идут друг за другом, как дети у праздничной ёлки: весна – лето – осень – зима – весна... Нет связей прочнее. Великий круговорот! Всё в мире подчинено ему: люди, цивилизации, планеты, миры... Всегда есть Лето и есть Осень. Нет смысла страдать – пройдёт Осень Злобы и Боли, пройдёт Зима Страха и Ненависти. Наступит Весна... Дай-то Бог!



## МУХА

**В**сю ночь не давала спать эта муха. Осенняя (октябрьская), не до срока ожившая, она металась, громко жужжа. Глупая и крупная, как фасоль (про таких моя мать говорит: «Заскочила кобыла!»). Слепо налетала она на всё, точно пуля, до бесконечности рикошетившая, но так и не погасившая своей энергии. Занавески были распахнуты. Окно слабо мерцало пепельным светом промозглой ночи. И она билась туда. Билась нещадно. Но, сев на стекло, вдруг застывала, будто почувствовав холод по ту сторону, – холод, в котором ей не выжить... Но тут же начинала биться вновь – о стекло, о стены; вылетала в соседнюю комнату, оглушительно жужжа в тишине. Но всегда возвращалась – к туманно-холодному окну. К свободе и гибели.

В ночном пространстве дома металась одуревшая муха. Одинокая муха.

Металась...

Октябрь – осень и холод.



## ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

**Б**ывают моменты – осенью – когда всё замирает. Замирают стрелки часов, перевалившись за цифру «шесть». Замирает солнце, попав в прутья тополей у дороги. И даже синее, тёплое ещё небо будто стекленеет, подпираемое у горизонта серыми тучами, что каждый вечер являются, пугая: «Уже не лето! Будут вам и дожди, и грозы!»

Ехали за цементом. Дома по сторонам дороги пропадали, как фотографии в слайдах. Пахло потом. И было сегодня как-то особенно глухо – то ли от вечера этого, то ли от усталости, набухшей в мышцах. Хотелось только смотреть и смотреть сквозь стекло, как за побеленными стволами мелькают дома. Мелькают, а какие-то – самые серые, самые старые и кривые – цепляются в памяти, возникая снова и снова, хотя на самом деле оставаясь далеко позади.

Перебрались через «железку» – машина порывивала, давя на рельсы. Спустились, и направо – к «Сахзаводу». Здесь таился другой мир, врезанный в тело села. Бетонные коробки, состарившиеся раньше срока, хотели склониться – великаны, измученные дождями и временем. Но жизнь не знала усталости. Гулливеры-пятиэтажки были обмотаны бельевыми нитками, приколоты иглками антенн. Другая жизнь – толкливая, резкая – бурлила, выбивая подчас окна и двери. Всё шевелилось, не знало покоя

даже в этот замерший вечер. Шумели люди у синего ларька. Что-то кричали дети, перебегая дорогу. Здесь были обычные люди – как и везде, они смотрели телевизор, жарили картошку. Торговались у «ЗИЛа» с арбузами, держали кошек. Так же мыли они свои авто и так же ругались, когда не могли разъехаться... Здесь было счастье и горе, смех и радость – ни больше ни меньше, чем всюду. Однако что-то постоянно пружинило и пружинило, какое-то движение – на воздухе, в квартирках и комнатах общежития – то ослабевая до незаметности, то вздрагивая, как пляска на свадьбе.

Лишь одно оставалось бесстрастным – недостроенный дом. С мудростью смотрел он пустыми глазницами на своих соседей, таких же громад. Весь он был чудовищно серым и холодным, как сумерки мира. Здесь же рядом и школа – двухэтажное зданье с розовыми стенами, тёплыми как детские щёки; и площадка для игр – с футбольными воротами, баскетбольным кольцом. Но тень от пустого дома ложилась на них большой серой ладонью.

Мы ехали сейчас в этой тени. По левую руку – школа; по правую – пустая, будто брошенная площадка.

А на площадке мальчик играл в мяч.

Он чем-то сразу врезался в память. Возможно, тем, что был один. Я видел отчётливо, ярко тёмную курточку, спортивные штанишки и всю его какую-то ухоженность, зализанность – в зачёсанных прямых волосах, светлом, точно только что умытом лице. От него тянуло свежестью, увлечённым детским азартом. Ему было лет девять. Но из-за пустоты вокруг он казался особенно маленьким, брошенным. И если бы не лицо, сосредоточенное и напряжённое игрой, сердце бы съёжилось, как от вида ребёнка, заблудившегося в лесу. Он гнал и гнал мяч.



Он глядел на него так (я знал по себе), как глядят те, у кого его никогда не было. Весь мир – мяч. Вселенная вертелась и подпрыгивала, белые и чёрные пятиугольники превращались в сплошные полосы. А мальчик мчался и мчался. Нагнав, пинал дальше. И снова мчался, и снова – не останавливаясь ни на секунду. В груди уже жгло, а всё чудилось: не поспевает! Но, нагнав, бил сильнее, сильнее бежал на коротких ногах, которые казались лёгкими и тяжёлыми одновременно. А мяч всё летел и подпрыгивал, летел и подпрыгивал, всё вперёд и вперёд... Лицо светилось чем-то естественным и далёким. Должно быть, счастьем – наивным и простым – тем самым, которое ощущаешь не сейчас, а через долгие-долгие годы. По памяти и всегда – лишь в прошлом...

Нет, не упрямый куст он огибал, не мимо вкопанных покрышек пробрасывал мяч – противник пластался в ноги, и кто-то падал, купившись на финт. Самому себе давал пас через всё поле, ловил на лету, обрабатывал, лупил в дальний угол, а на самом деле лишь нагонял, пинал и мчался. Вселенная всё кружилась, подпрыгивала, всё убегала и убегала – пятиугольники превращались в сплошные полосы...

Мы уже ехали дальше, а мальчик всё ещё был перед моими глазами.

И лишь потом, подъезжая к магазину, я понял: а ведь он был не один! Там, в голубой раме ворот...

Что-то ёкнуло. Что-то больно кольнуло сердце...

Заглушили двигатель – тишина придавила уши. Стены пятиэтажек пригревал водянистый вечерний свет. Маленький пруд, а на том берегу серебрились бока элеватора, точно обшивка космических кораблей. Но чей-то призрак напоминал о здешних подъездах – скупых и холодных, как после войны, пропахших псиной.

Сердце никак не могло успокоиться. Я старался не думать, старался не вспоминать, но что-то тянуло – вернуться!

Когда расплачивались с продавцом в магазинчике, всё мерещился тусклый лиловый платок... Тащили вдвоём тяжёлый мешок из грубой бумаги, а перед глазами старое осеннее пальто до колен – слишком тёплое для этих пор, синее, как дождевая туча... Мешок цемента грузно лёг в кузов. Глухо скрипнули рессоры... Там, в синей раме ворот, стояла женщина... Стояла, склонив повязанную платком голову набок. Опустив руки, будто в тяжёлом полусне...

Машина завелась. Мы развернулись, поехали назад тем же путём. А это видение всё пульсировало и пульсировало перед взглядом. Я закрывал глаза – но оно было и там. Женщина в лиловом платке и синем пальто, стянутом у пояса. Женщина, склонившая голову набок, ссутулившаяся, опустившая руки...

Они появились впереди, за утёсом пустого дома – две маленькие фигурки в квадрате игровой площадки...

И я отвернулся.

Казалось, это будет продолжаться долго: рокот движка, синий заборчик у школы, луг с пасущейся коровой. Не будет конца чему-то внутри сворачивающемуся до удушья. Шея каменела в неясном напряжении...

И всё же не выдержал – обернулся, надеясь, что мы уже проехали...

Но бывают моменты – осенью – когда всё замирает.

Они уходили с площадки, пробираясь через бурьян у асфальта. Они шли, держась за руки, – мальчик в новенькой курточке (лицо его было красным, волосы на лбу взмокли от пота, он часто дышал – и всё же был счастлив, да так, что глаза буквально сверкали) и женщина в пальто – теперь видно: болоньевом, с краской потрескавшейся, как

весенний лёд. Они оказались так неожиданно близко. И, наконец, я увидел тёмную, постаревшую раньше времени кожу. Морщины. А в морщинах – залегшие, будто в окопах, тусклые вечера, дни, пропитанные тяжёлым кухонным дымом, ночи беспокойных снов, лишённых сновидений, – из-за усталости. Седой волос выбивался из-под платка. А глаза глядели в тебя и – в полузабытьё – куда-то мимо.

Где-то у школы ребятня визжала, швыряясь друг в друга чёрными ягодками кизильника. А через бурьян к асфальту шли, взявшись за руки, мама и сын. Мяча при них уже не было.



## МУЗЫКАНТЫ

**П**оявилась откуда-то новая мода – лечиться. Бог его знает откуда, должно быть из Англии, потому что как что-то новое появится, так точно с их островов. Или из Парижа, потому как «мода» – слово французское. Тут не так уж и важно. В общем, появилась, поселилась и, как говорится, укрепилась. А раз в моду вошло лечиться, так уж и болезни откуда-то стали приходить. Раньше ведь как было: жили себе и жили и ни о чём таком не ведали, и думать не пытались. Ну, до тех, конечно, пор, пока не помрёт кто, тогда уж и дознавались, отчего и как. Да и то не везде: помер и помер – земля ему пухом! Потому ведь и люди были крепкие, что ничего о болезнях не знали. А тут эта мода! И повылазили всякие хвори, как жабы из болота: недуги, мороки, немощи, хилины. Названия – одно другого страшнее, всё нерусские, ломаные, колючие. Как скажет тебе лекарь на ухо, так не удержишься – весь вспотеешь и дрожь крупная. Вот тут-то и оно. И как-то стало жить беспокойно, страшно даже.

А так как появились болезни, так и те сыскались, кто болезни эти лечить взялся. Тут уж откуда ни возмись, как грибы после дождя, стали люди эти появляться: знающие и незнающие, шарлатаны, горлопаны, ну и порядочных тоже немало. Вот уж их, как иголок на ёлке: врачи наши и иностранные, лекари, аптекари, колдуны, гадалки, знахари и травники, костоправы и волхвы, волшебники, чаро-

деи и даже коновалы. И все лечат. И каждый своим лечит да приговаривает, что, дескать, одно только их средство и поможет. Одни таблетками и мазями. Другие – припарками и настойками. Лечат травами и грязями, заговорами и словом Божиим, сырой землёй и белой глиной... Теперь уж каждому известно, и всё это никакая не новость. Кто хоть сам-то ни разу не лечился?..

А то, что музыкой лечат – вот это ново. Вот это, скажу я вам, ново и необычно. И чья вина, что здесь об этом не знают? А я говорю, что это находка. Вот в чём есть наше спасенье!

Стояла под Орлом деревенька Воробьиное. Большая деревенька – дворов в ней было под сто. Люди жили, как и везде живут мужики и бабы: поля пахали, с коров молоко цедили, подати платили, женились, дрались, мирились, ну и всё в том же духе.

Да вот одним прекрасным летним днём появились музыканты.

День-то стоял и вправду знатный. Солнце горело, как ангельский нимб. По небу ярко-синему лёгкие облака плыли, совсем как кораблики по бескрайнему морю. С рыжих полей дул знойный ветер, точно горела за дворами неистовым жёлтым пламенем земля, будто огонь стелился низко, стараясь заползти ужом в калитки. Воздух был горяч и сух.

И вот появились они, как из пыльной дороги выросшие, идут, неизвестно откуда, неизвестно куда. И одежды на них точно к празднику сшитые, красные, как вишнёвый сок. Поглядишь на них, и поневоле стыдно станет за свою-то рубашку, а ведь и деньги есть, и рубашка не то чтоб рвань какая, а всё равно стыдно. Посмотришь так на них, да и махнёшь рукой: «Нет, братцы, чтоб такую одежонку носить – нужно

вон какие плечи иметь и лицо, вон как у них, а не мою чу-мазую оглоблю».

Шли они, гордо вздёрнув головы, грудь вперёд, а в руках у кого труба, у кого диски медные или трещотки деревянные. В первую очередь дети вокруг вились, обступили, точь-в-точь охрана, что в острог ведёт. Шутки пускали, языки показывали, пальцами тыкали, норовили за штанину дёрнуть, а кое-кто, кто посмелее – камнем зарядил для страху, чтоб наших знали. А им хоть бы хны, шагают себе, точно по мощёной дороге. Тут уж не только дети, да и мужики с бабами на улицу высыпали. Виданное ли диво: кто такие, чего им надо? Неужто крестный ход или, не дай бог, война какая, чтоб ей пусто было. Обступили и идут рядом, пересуды промеж себя ведут, а спросить, окликнуть – точно голос из груди вынули. Как же, думают, подступишься к ним, вон какие важные, умные, стало быть, не то, что ты – моль в голове; а вдруг он тебе ответ даст, да по-свойски, по-умному, а ты и стой башку опустив. Кому ж перед соседями дураком прослыть хочется? А они всё идут, по сторонам не смотрят, точно брезгуют: много чести на вас, оборванцев, зрение портить.

Дошли до площади. Тут впередиидущий рукой махнул. Остановились. Народ вздрогнул, точно всех разом палкой ударили. Смотрели на пришельцев с тревогой, не зная, чего и ожидать. Тот, кто рукой махнул, влез на бочку. Стоит на бочке, и сам как бочка – дородный, с животом объёмным, лицом бритым, красным, гладким, как щёткой отдраенным. Оглядел он всех грустным взглядом и рот раскрыл:

– Ну, здравствуйте, божьи люди, – говорит и голос у него глухой, но громкий, как эхо в колокольне. – С праздником вас великим, Бог вам в помощь. Вы хлеба растите, детей рожаете, а меж тем настали уже тёмные, несладкие време-

на, и крыло ворона чёрного раскрылось над нашими славными землями. И много новых хворей бродить вздумало по русской земле. Сушь земная жжёт посевы. Не ровен час, свершится сказанное в Писании: «Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях...» Одна болезнь страшней другой. Одна кровь сгущает, другая кость иссушает; одна зрение лишает, другая змей в живот напускает... А мы ходим по деревням и сёлам, избавляем людей от напасти. Музыку свою им играем, чтоб болезнь самую страшную, Королеву-всех-Болезней, изгнать прочь. Ведь музыка – то ангельский язык, и заслышав её, та страшная болезнь, по сравнению с коей все прежние моры курам на смех, бежит вон и хвостом змеиным потрясает. А уж эта болезнь в гроб любого вгонит...

Он замолчал и снова огляделся по сторонам, приглаживая рукой рыжую копну вздыбившихся на голове волос. Вокруг все молчали. Ох, уж как было им не по себе оттого, что в этот светлый день им говорили о таких вещах.

– А что за болезнь-то? – выкрикнул кто-то, а кто неизвестно, будто сразу же под землю провалился.

– Ну, братцы, болезнь эта страшнее смерти. Она в груди сердце клещами давит, едким дымом глаза жжёт, змеиным языком мозг лижет, и в самого человека точно бес вселяется, и так и ест изнутри, так и ест. И название у той болезни имеется, и названье это страшное, с того языка переведённое, на котором черти в аду песни поют. И названье это... Кракхабракхаммурра!

Толпа вздрогнула, разом охнула. И сразу страх такой по ней пробежался, точно адским ветром дунуло. Ничего в жизни своей страшнее они не слышали. Дети, что недавно камнями кидались, захныкали и к материнским юбкам

прижались. Закрестились все разом, точно живого чёрта им показали.

Нет, подумалось им, дело-то серьёзное, таким словом насморк-то не назовут! И если уж кто и сомневался в чём, то теперь сомнения эти пропали. Кое-кто ведь так думал: «Ну, идёт болезнь, а дойдёт ли? Может, устанет и назад повернёт». Или: «А бог его знает, что за болезнь. Может от неё только бабы мрут, так это не так уж и боязно». Но тут все мысли – вон. И слово это нехорошее, стало быть, точно у чёрта в башке рождённое, так в головах у всех и застряло.

– Мы – музыканты богобоязненные, – заверил человек на бочке, приметив страх на людских лицах. – По заветам Иисусовым живём. Денег за свой труд не просим. Но в годы последние, испытывая лишения и тягости, преодолевая сопротивление бесовское, инструменты наши поизносились знатно. Так что Богу одному известно, сколько продержатся они без доброго ремонта. А кто же поможет нам ремонт чинить без денег-то, а? И поэтому, братья, не для личной прихоти, а для дела святого нижайше просим вас пожертвовать нам всего по одной монете со двора. Не для личной прихоти, а для дела Божьего, взамен стараний наших в борьбе с Великим Гадом, с Болезнью-всея-Болезний.

Все вновь стали креститься, но кто-то крикнул:

– А поможет ли?

– Да как не поможет? Мы ведь всем сердцем... всей душой... Да раз уж так, раз уж нам не верите, то хоть земляку своему поверьте, соседу своему из Куницына села.

Говорящий махнул рукой. Красные рубахи расступились, пропустив вперёд стариковскую фигуру, – бог знает кто такой: Куницыно село – оно вон ведь где, да и разве всех упомнишь?



– Правда, свят крест, правда, – старик отпуская поклоны, длинная борода касалась земли. – Свят крест! Истина великая!

– Ладно! – Дюжий мужик подступил к бочке. – Вот твоя монета. Бей в свои барабаны, играй в свою музыку. Пусть эта мерзость спину покажет. Негоже мне, молодому и здоровому, помереть во цвете лет!

– Э, нет! – сказал на то музыкант. – Ты мне деньги даёшь, а они что ж, смотреть будут и слушать за твою пользу? Негоже дела так делать. Негоже честных людей обманывать, которые к вам с душой открытой, с делом благородным...

– Эгей! – в один голос закричали в ответ люди. – Не гневайся на нас, добрый человек. Не яришь, не зови нас людьми злыми...

Да и вправду, кому помирать хочется, кому хочется, чтоб ему сердце клещами давили, мозг язык змеиный облизывал, да и другие мерзости над тобой совершались? А то ведь помрёшь и поминай, как звали. И кто же тогда за тебя пахать станет, или с коровы молоко цедить, или кто дом покосившийся бревном подопрёт, сена заготовит? А уж от названия этого страшного так и в жар бросает! Наполнился у музыкантов котелок монетами: со всего села собрали, никто в стороне не остался, благо село было небедное, зажиточно жили в нём люди. Слез главный музыкант с бочки, ссыпал деньги себе в одежду красную. Оглядел всех ещё раз. Густые брови распрямил, улыбкой блеснул и махнул рукой:

– Играйте, братцы!

Зазвенели тут же медные диски, барабанный бой раздался глухо, трещотки заговорили частой трелью. Позакрывали селяне уши, потому как плохо им стало от такой музыки. А барабанщик всё налегал на палки. Труба захрипела, как раненая птица. Ну, ничего, думают люди, чего не стерпишь

ради здоровой жизни. Трубач тут уж посинел, с остальных пот ручьями заструился.

– Хорош! – крикнул главный музыкант, и музыка стихла.

Поклонились музыканты, побросали инструменты себе на плечи и опять в путь зашагали. Идут, головы подняли, груди вперёд. По сторонам не смотрят, точно брезгают. Шагают ровным рядом. Каблуки сапог о землю цокают. Лица у всех чистые, гладкие и будто камень: все замершие, как неживые. Люди им – кто пряник, кто каравай сунет; а они идут и глаза не скосят, точно есть перед ними только одна дорога, а всё остальное во тьме, невидное совсем. И ушли. Куда? Один Бог ведает.

Так вот, скажу я вам, прошло с тех пор много лет. Люди в тех краях, конечно же, помирили и немалым количеством. От старости, от угара, от жары и холода, ну и от болезней всяких: от тифа, от дизентерии, от чахотки, от красной сыпи и от других премногих болезней. Да только, видит Бог, сколько лет прошло, а от Кракхабракхаммурры, Королевы-всех-Болезней, ни один человек костей не сложил, и даже курица от неё не издохла.

Значит, не врали музыканты.



# ЖИВАЯ КРОВЬ

*– Кровь, надо знать, совсем особый сок.*

Гёте «Фауст»

**В** ту зиму один день был похож на другой. Ватные облака ложились на крыши меховыми шапками. Шёл снег – день за днём.

После сухого лета, сухой осени зима, казалось, возмещала ущерб, засыпая дворы, занося дорожки, облапывая провода. Так и было: утро с пепельно-серым небом; люди, прорубающие пути к расчищенной трактором дороге; и снег – бесшумно падающий редкий снег...

Я вставал ровно в восемь. Выпивал полкружки молока, бросал в пакет капельницу, физраствор в уродливой медицинской бутылке. Отправлялся в местный стационар. Пути было – минут пятнадцать по диким от снега улицам. Люди шли на работу, на рынок. Дети бежали в школу. Мокрый снег скрипел – сладко, как арбузная мякоть.

Пятнадцать минут... Всегда что-то странное творилось в эти пятнадцать минут – они словно были и в то же время их не было. И вроде бы я кого-то встречал, кивал головой. Взлетал на снежный отвал, когда машины пронеслись мимо. Падал. Что-то терял, забывал, возвращался. Но что, где? Всё таяло, расплывалось как сон: яркий – пока не проснёшься; а там – одни клочья... не слепленные, пустые...

Но вот бутылка физраствора бьёт по колену. Грохочет трактор. Тополя, согнувшись под снегом, сторожат стезю

к кособокому крыльцу с голой перилой. Вот он – некогда баня, теперь стационар – большой белый кирпич с окнами ртутными из-за белизны вокруг. Дверь – ручка обмотана тряпкой – открывается наполовину, и то если поднажать. Коридорчик в два шага. Измочаленный веник. Ещё одна дверь, а за ней – маленькое помещенье угловатой буквой «С» на дюжину комнат-палат; окошко напротив входа, в котором лишь краешек стола и спинка стула; жёлтые пятна на потолке; деревянная лавка, чтоб удобней натягивать бахилы (а они обязательно рвались, и приходилось волочить ноги, дабы они не слетели на полпути); стены – белые больничные стены, и желтеющие санбюллетени, написанные от руки.

Да, из этого можно сделать вывод, представить, как выглядело, но всё будет пустотелым без двух вещей. Хлорка. Нигде в мире так сильно не пахло хлоркой. Запах источали стены, полы, ребристые батареи. Хлорка была воздухом и богом, требующим ежеминутного поклонения. И вот сейчас, поутру, переступишь порог – он ударит вам в ноздри, а в пустом коридоре вы увидите женщину-адепта, непременно шкрябующую линолеум куском старой рубахи на шваберном древке.

И голоса. Старческие голоса сливались в ноту, что замирала и загоралась вновь, подобно далёкой волне. Толстые стены сдирали с них душу, превращая в эхо – неразборчивое и глухое. Казалось, люди эти где-то необычайно далеко. Или глубоко в толще пород, из которых уже не вырваться. Внутри холодило от звуков. Даже от смеха. Нутром чуешь – смех; а до сердца доходит – сухой горох о глухую стену – никчёмность какая-то. И обида. Может, казалось, а может, и вправду была – тонкая эта обида за то, что тут они, старики в пуховых платках и серых заштопанных кофтах, а там,

за стеной – рукой подать! – морозец, и снег, и воздух, которым дышать не передышать... А они замурованы. На веки вечные.

Вот он, тот стационар – звук и запах – более ощутимые, более реальные, чем стены и бугристые полы.

Но всё же была тут одна палата... Внешние звуки в неё почти не проникали. Запах, невыносимый запах хлорки ослабевал, разбиваясь о белую дверь. Шесть коек. Шесть тумбочек с раскрытыми двёрками-ртами. Большие окна, чтоб заглянуть в которые, приходилось вставать на цыпочки. Раковина с гусиной шеей стока казалась подвешенной в воздухе на фоне белых стен.

Здесь было много пространства – из-за потолка или этих стен. Пустота давила. Как не забивай её людскими телами, она не исчезнет, архимедовым законом её не выдавить.

Палата номер пять, дневной стационар, тот самый, к которому я был «привязан» росписью в медкарте.

Люди здесь были особые – не молодые, но и не старые (казалось, возраст их подходил к пенсионному, но только лишь подходил). Одеты по среднему достатку – не так, чтобы хорошо, но и не бедно. Но главная их особенность в том, что все они друг друга знали – не по работе, не по соседству – знали по тем местам, где виделись чаще всего. «Ну что, ВТЭК прошли?» – «На год?.. Ой-ёй-ёй, сколько ж можно!» – «И что колют?.. А мне вот прописали...» – «Посыльной? Перед ВТЭКом?..» И всё с жаром, с огнём в глазах – среди своих, таких же спецов по лекарствам, врачам, просиживанию в коридорах ВТЭКа.

Нет, были и такие, кто появлялся единожды – откапываясь после пьянки. Друг на друга похожие – так же смотрели в потолок, так же вздыхали, фальшиво постанывали. А вокруг всегда вился какой-нибудь друг, приговаривая: «Тер-

пи-терпи. Я Саньчу поставил – как огурчик выйдешь!» Но появлялись они редко, а когда появлялись, разговоры о лекарствах тут же снижались до полушёпота, точно в одутловатых от спирта лицах чувствовалась для них угроза.

По утрам здесь всегда царило чесоточное оживление. Распаренные от дороги постояльцы скидывали куртки. «Что ж вы меня бросили-то, а? – говорил низенький мужчина со стариковскими морщинами и гладко зачёсанными волосами. – Я смотрю – елки зелёные! – один! У меня кончается. Я уж хотел иголку сам выкручивать!» Он примерял свою простыню к голому матрацу. Когда он встряхивал простыню, по палате разносился резкий запах его дезодоранта. «Ой, ерунда-то! – фыркала женщина в очках, полноты такой, что, казалось, не переворачивается с боку на бок, а перекатывается, как шар. – Тут был один... Да ты его знаешь! Федька Смакин! Так он её вытащит, повесит, и домой...» «Говорят, пожизненную дали», – вставляла женщина с чёрной родинкой на щеке. «Чего ж он по больницам шляется, раз ему дали?» – Женщина в очках брезгливо сжимала губы.

А ещё обязательно кто-нибудь вваливался, бешеными глазами метал молнии, швыряя перчатки на свою койку: «Обмануть хотела! Ага... Суёт мне. А я ей: «Ты чего даёшь? Да я всю жизнь по больницам, я лучше тебя знаю. Милдронат мне прописали, а ты...» А она: «Ой-ёй-ёй, извините-извините, а мы не поймём, чего написано...» Надают чего попало, а потом машины себе покупают дорогущие!» И все в палате подхватывали, точно слова эти резали сердце, сдирая кожу с засохших ран, извлекая больное – и с ними то же, и с ними так же. И лечили не от того, и вену порвали, и цены подскочили, и дешёвое прописали. С негодованием, переходя чуть ли не в гвалт. И тут вдруг обрываясь, будто

воздух кончился. Наступала глупая тишина, накрывая всё и вся большим тяжёлым одеялом. Они стелили свои простыни, закатывали рукава – уже с каким-то смущением, стараясь друг на друга не смотреть. Наконец, кто-нибудь с негодованием замечал: «Вчера в ЦРБ с «больничным» ехала. Народу – селёдка в бочке. Старики! Чего прутся? Ноги не ходят – а они: «В Бобров, в больницу!» Народу – тьма... Я вчера к невропатологу сидела. Так там старух, как на базаре. Еле успела. С посылным». И маленький мир дневного стационара оживал, почувствовав родное: «Да-да!.. Старики!.. Сидели бы дома – одной ногой в могиле, а куда-то лезут!.. Молодёжь обнаглела! Место никто не уступит!.. Народу в «больничном» – битком!..» Пока и эта тема не умирала. Вновь наступала тишина – мучительная, неловкая.

Людей в палате всегда было много. Это так – шесть коек; лежачими занято только пять. На шестой сидели по троечетверо (а ещё обязательно кто-нибудь стоял), те, кто «докальвались» или просто ходили на уколы. Люди менялись. То лежала на соседней койке женщина – почти старуха, накрашенная так, что казалась страшной. То, на следующий день, уже опухшие ноги торчат сквозь прутья, а дородный их обладатель храпит как утопающий, глотнув морскую холодную воду. Но кто бы ни появлялся, в большинстве своём был из тех, «своих», принося новое о врачах, больницах, посылных.

Моя койка у окна, почти на отшибе. Ложиться на неё никто не хотел – здесь дуло. Сквозняк гулял, иногда распахивая дверь как ударом ноги. Но я не жаловался. Позиция тем удобна, что находился я вне этого маленького круга. Меня не замечали. Заинтересовались мной только когда поступал. Да ответить, что колю, зачем, внятно не смог. На том и закончилось – пропал ко мне весь интерес.

Когда поступал... Дни стёрлись, превратившись в расплывчатое «вчера». Люди лежат задрав рукава. Физрастворы и ампулы – на тумбочках. Входит медсестра с жёлтой стойкой в руках. Медсестра молчалива, как сфинкс, снисходит до односложного: «Пойдёмте. Готовьтесь. Работайте». И уходит, не спрашивая, щиплет ли под иголкой. И вот все привязаны к жёлтым стойкам. Теперь начинается самое тяжкое. Будто плита гробовая падает на каждую койку. Тишина. Молчание. С крана срываются капли, разбиваясь о казённую раковину. Шуршат занавески от сквозняка и тепла, идущего от батарей. Но всё так слабо, так ничтожно, что делает тишину ещё твёрже. А молчание душит. Хочется, хочется что-то сказать, но на ум ничего не приходит, а если приходит – растворяется сахаром прямо на языке.

Не выдержав, женщина с родинкой заявила надтреснутым голосом:

– Кровь сдать... Из вены, говорят, в ЦРБ. Я поехала... В новый корпус... Там чёрт ногу сломит... Еле нашла. В очереди отсидела, захожу, а мне прямо с порога: «На сколько записаны?» Теперь, оказывается, и кровь сдать – по талону!..

Она замолчала, ожидая поддержки – но её не было.

– Звоню следующим днём... Не записали. Чтоб врач... Нужно, – она говорила всё тише. Её и без того худое тело, казалось, усыхало на глазах.. – Вот... А тут... Пришла к ней: нет... Направление... В направление... С направлением в регистратуру. Записали еле-еле... А это ж кровь! Её ж каждый месяц. То одно, то другое...

Она вновь умолкла. Но что-то стало пробуждаться.

– Ага! А если надо? Если вот срочно надо?..

– Ой, одни бумажки...

– Тут договоришься – так возьмут. А там... Халаты белые, морды красные...



– Во-во! Мои. У брата двое. Дети...

Тут при слове «дети» оборвалось, точно в это узкое общество вонзилось нечто чужое.

От физраствора было холодно, клонило в дрёму. Кто-нибудь обязательно засыпал. Поглядывали на него всегда с завистью. С завистью слушали сопенье, бульканье. Сон был оправданием, но как же трудно его заработать!

Дверь время от времени распахивалась. Появлялась медсестра (сегодня высокая, худая, с застывшим совиным лицом), тут же пропадала – поневоле подумает: а не привиделось ли? В коридоре изредка что-то гремело; повариха – молодая на вид девушка – боцманским голосом кричала: «Еду брали? А чего расселись?»

Те, кто ходили на уколы, сидели на «общей» койке, краснея от «никотинки». Оторвавшись от пуповины капельниц, они теряли и членство в этой маленькой группе. И всё же молчание давило и на них. Они тоже страдали, хотели её порвать. Но только хватало робко пошутить: «Вот нашпиговали-то – сидеть больно». Никто не улыбался на эту шутку, даже они сами. Лишь изредка кто-нибудь пресно замечал: «Да, действительно...» Но им было легче. Отсидев свои пятнадцать длинных-предлинных минут, они исчезали – вырывались из вакуума в поток старческих голосов и дальше, на воздух, жмурясь от белого снега. А дневной стационар оставался при своём.

Но вот кончилась первая капельница – у полной женщины в очках. Она начинает ерзать, краснеет, не в силах решить, что ей делать: ждать или бить кулаком в меловой утёс стены. Но медсестра появляется сама. И тут – первое чудо – на халатно-белом её лице... улыбка! Улыбка так слаба и неожиданна, что кажется полной тайн. Медсестра – явление столь незаметное – притягивает общий взгляд. Она

необычайно учтива. Успокаивает как ребёнка: «Сейчас... Потерпите чуть-чуть...» Сдирая пластырь, заботливо спрашивает: «Больно?» И добавляет, вынимая иголку: «У Кольки руки волосатые. Пластырь тянешь – кричит».

Положила вату. Забросила прозрачный шнур за выступы стойки, понесла её к двери.

– Кричит? – с запозданием спросила женщина в очках. Но медсестра уже исчезла.

Дверь оказалась распахнутой, в палату ворвались и запах хлорки, и шум голосов, как тихий рокот далёких волн. В коридоре, опираясь на костыли, стоял мужчина с измождённым лицом. Пустая штанина завязана чёрным узлом. Из этого узла он выудил пачку сигарет; глядел на неё, не решаясь, курить ему или нет.

Не прошло и пары минут, как медсестра показалась вновь, ведя под руку высокого мужчину, который еле волочил ноги. Медсестра посадила его на «общую» койку – сетка прогнулась, угрожающе закрипел. Вышла, прикрыв за собой дверь.

Полная женщина оживилась – поднялась повыше и, заложив руку за голову, едко спросила:

– Чего это ты, а, Коль?

– Уф-ф-ф... О-о... Видеть не могу... Аж с ног... – Голос был с хрипотцой. Редкий чёрный волос отступал на лбу мужчины широкими залысинами. Глаза, поставленные так близко, что казались маленькими, слезились. Кожа с красноватым загаром расходилась морщинами на небритых щеках.

– О, ёлки ж... – Он одним пальцем потянул скомканный рукав пёстрой кофты. – Уф-ф-ф...

– А чего ж вам колют? – спросила женщина с родинкой. На её овечьем лице блеснуло выражение живого интереса.

– А я почём знаю? Была б моя воля... – Он хмыкнул. – Вот свиной колуют. А я чем хуже? Наколют меня – обросту мясом, тогда поглядите.

– А-а-а... – протянула женщина с родинкой.

Но полная не унималась:

– Чего ты, а, Коль?

Он прислонился спиной к стене, вытянул ноги и, придерживая «раненую» руку, заявил, оправдываясь:

– Видеть не могу... Как увижу, аж пелена. Голова кружится. – Он выдохнул, точно вынырнул из пруда. – Уф-ф-ф... Во дела! Не могу... Ещё маленький помню... Вот когда кровь берут, палец давят – кровь нагоняют. А мне уже страшно. Я в слёзы. Палец давят, а мне кажется, сейчас лопнет! Уже красный-красный... Меня успокаивают: «Ой, да не плачь, ещё не укололи...» А мне кажется: как лопнет! Как вишня. И всё в крови. А иголка? Мамочки, какие у них иголки!.. Шип... Вот шип стальной! И, кажется, не просто уколют – насквозь, до ногтя... Отворачиваюсь, а никак не отвернусь. Меня успокаивают, а мне только хуже. «Сю-сю-сю». А я визжу во всю глотку... А уколют... так... прям пелена!

Он умолк. Сделал попытку заглянуть в щёлку согнутой руки. Весь он вытянулся, будто стараясь глядеть издали. Женщина в очках прыснула. Та, что с родинкой, хихикнула. Мужчина с прилизанными волосами отстранённо улыбался. В глазах их что-то заиграло. Точно свежий воздух ворвался в стоячую мглу палаты. Даже уснувший – полный мужчина с двойным подбородком – улыбался во сне, словно и там ему сделалось легче дышать.

– Уф-ф-ф... – выдохнул Коля. – Это ж надо? Мучения! Ладно пацану – чего ему? Ну, поревёт, им, детям, полезно... А если... Боюсь её... Хоть таблетку бы придумали, выпил – и не боишься. Красота! А то ведь... Ладно пацаном. Или

когда не видят... А то стыдно. И ничего с собой не сделаешь... – Он потёр подбородок серым от папирос пальцем. – В школе. В старших классах. Уж не знаю, на кой чёрт? Перед военкоматом, что ли... Согнали нас в один автобус. Прямо с уроков. Три класса – сейчас уж не помню... А, Бэ... Какая там? Вэ?..

– С утра А-бэ-вэ было, – выручила женщина с родинкой.

– А-бэ-вэ?.. Ага... – Он ещё раз потёр подбородок, выкаывая шуточное недоверие. – А-бэ-вэ?.. С утра?.. Ты на улицу-то погляди – везде А-Б-Ц! Зи дойчь? Ну, Вэ так Вэ, какая к чёрту разница? Короче говоря, долбаков полный автобус набился. Одни пацаны. Детей-то тогда было вон сколько! Все здоровые детины. Автобус битком. Стоишь – плечо к плечу, и ещё об чье-нибудь плечо затылок чешешь. Автобус по буграм из стороны в сторону – хоть держись, хоть не держись, один чёрт не упадёшь. Да ещё курить сообразили – втихаря! На нас матюком. Трудовик ехал. Без ноги. Ещё с войны. «Кто курит? Вашу Наташу! Так вас и раззедак!» А сам сидит. Ему в толчее не встать. Палкой трясёт: «Приедем – бошки всем поотрываю!». А нам одно ржанье. Кто-нибудь крикнет: «Так это ж асфальт дымится, Сан Палыч!» И опять – как табун дикий. Дураки, чего взять... Ну, привезли в больницу. Бумажки выдали, давай по кабинетам гонять... Такое дело – компания. Одно ржанье. По поводу и без. Анекдоты какие-то. Друг над другом... А дело такое – своему на зуб попадётся, полгода подкалывать будут... А я как-то... Забыл, что ли... Про кровь... Самому весело... Разогнали – очередь туда, очередь сюда. У лаборатории коридорчик узенький. Эти баночки тоже... Шуток – вагон с тележкой. Я стою, от смеха живот болит. Весело... Плотно вокруг, что впереди, в кабинете, не видно. Зяблик Сашка впереди меня... Смотрю, выскакивает. Мы с ним друзья

были. Палец ватой трёт, кровь никак не остановит. Видно, прям капля такая тёмно-красная. Он мне палец к носу. Лыбится: «Во, блин, пулевое третьей степени». Я увидел – мамочки! – аж ком к горлу! Смотрю, глаз отвести не могу. Сашка: «Ты чего позеленел?» – «Да так», – говорю. А у самого ежом внутри. Точно иголки проглотил, всё колет – от желудка до шеи. И чувствую – кровь от лица отходит... А очередь движется. Я вроде и не иду, а дверь всё ближе. Чем ближе – мне хуже. Дверь открытая, тут тебе и стол, стул. Конвейер: садись – укол – пошёл... Как во сне – уже сажусь. Всё у меня трясётся. Сел, руки на колени положил. Смотрю перед собой. Думаю: кровь увижу – всё, помру... Лаборантка: «Палец!» Я сижу, не пойму. Она: «Палец, палец давай!» За спиной смех... Она руку взяла, подняла над столом; не рука – крыло куриное, силы совсем нет. Смеху тут!.. Кто-то аж на стул облокотился, дышит в затылок. Мне от дыхания этого – внутри расплзается. Шея затекла. Голову еле-еле отвернул, говорю: «Не дыши. Богом прошу, не дыши!» Аж не заметил, как уколола. Точно током ударило. «Всё, – говорит, – вату держи, потом выкинешь...» Я встаю. Прямо вроде встаю. Встал – всё нормально, ничего не кружится. Шаг... Смотрю – ноги! Ёлки-палки – мои!.. И потолок!.. Очухался от нашатыря. Настроение ужасное... Назад ехали – всем смешно. Если б мог, провалился бы. Прямо сквозь автобус. И в землю – штопором... Вот такие вот дела!

Он прервался. Разогнул руку и, полуотвернувшись, потер место укола красным кусочком ваты.

– Уф-ф-ф... – выдохнул сдавленно. Лицо исказилось, взгляд поднялся в потолок. Глаза слабо блестели, и стало ясно: блеск этот – огонёк озорства, мальчишеского задора. Казалось, один этот взгляд озонирует здешний воздух, делает его приятным, живым. Каждое движение, каж-

дое слово Коли было столь простым и естественным, что какая-то лёгкость передавалась от него всем в палате. И улыбки играли на лицах от этой невероятной лёгкости, от присутствия настоящего, живого.

– Такое дело – кличка прицепилась... А там – выпускной. И школа жизни. Я в Средней Азии служил: пустыня, шляпа с полями. Вернулся – мужик мужиком. Что там мне эта кровь – тьфу! У нас кровь – масло. Масло машинное. Мы её, не жалея, проливали... Мимо двигателя... А там – училище, работа... Как-то я и не задумывался... Что это? Детское, как прыщи. Да ещё здоровый был. В больницах не лежал, да и попробуй меня загони... Нет, вру! Один раз кто-то трепал: «Вот! Обследуйся! Надо обследоваться!» Хрена с два! Что я там не видел? Буду ещё лежать, в потолок плевать, а там жизнь идти будет? Нет уж, не пойдёт! А ложить будете – сбегу! В первый же день! «Ой, а вдруг! А вдруг!» А если вдруг – уж лучше дома, на диване помирать. Или нет – под забором, чем в этом вот... Здесь не то, что день, минуты быть нельзя! Это не ешь. То не пей. Тут не дыши. Послушать – жить страшно. Охи-вздохи одни...

Полная женщина засмеялась в голос. Смех этот показался неуместным. Но из-за всеобщей лёгкости она не смутилась, и её круглое лицо опять засияло улыбкой.

– Да, ерунда. Одно слово – больница... А тут – работа... Второй год или третий. Женился. А там, не помню уж, с какого... То ли все тогда? То ли... Кровь из вены. Я с электричкой, с утра в Бобров. Лето. Прохладно, тихо. На гору поднимаешься – асфальт аж блестит, свет жёлтый-прежёлтый, как после дождя. В автобус сел – людей мало, все молчат... Утром всё по-другому – спокойно, хорошо. И люди другие. Доброта какая-то, мирные – на душе приятно. До больницы доехал – врачи только приходят. Людей мало... Сел... А

я это... Уже плюнул – на кровь. Чего она? Так, сопли детские – перерос. Жду спокойно. Ещё люди подтягиваются. Я пропускаю – не к спеху. До автобуса далеко, на рынок ещё успею. Даже мысли ни одной... Стариков трёх пропустил, захожу. Кабинет здоровый, белый, как молоко. Тут шкафчик, напротив кушетка – бабулька сидит, вот как я, с ватой. У окна стол, пузырьки, колбочки. За столом медсестра. Я рукав закатываю, сажусь. Медсестра – повязка до самого носа, но видно – красивая, стройная, спинка, как палка. Я руку вперёд, мышцами играю. А ей хоть бы что! Тут дверь хлопнула. Ещё одна входит. Эту поманила; обе – за дверь. Я сижу. Никого. Бабулька моя уже смылась. Всюду стекло... Чувствую, пошевелюсь и чего-нибудь тут разобью... Смотрю, входит моя медсестра. С ней человек шесть, девчонки какие-то, почти школьницы. В халатах белых. Маски больничные на них... Медсестра на кушетку села, говорит: «Вон, кровь надо взять. Приступайте». Они меня обступили, с ноги на ногу переминаются. Я красный весь с головы до ног. Что делать, не знаю. Сердце в висках гремит. Вот блин, думаю, что ж за такое?! Школьницы, ёлки зелёные, школьницы! Это что ж выходит, они у меня кровь будут брать? Тренироваться будут?! Смотрю на них. Зубы сжал. Терпеть, думаю, терпеть! Тут одна жгут схватила, руку мне перетянула, а саму трясёт. «Юль, – говорит, – коли». А все худые, маленькие, щуплые, халаты одинаковые – как близнецы. Другая берёт шприц – у меня во рту пересохло. «Работайте», – говорит. Я на неё смотрю: «Да, – говорю. – Работаю, а вам зачем?» Медсестра встала над школьниками, как курица над цыплятами. Маску сняла – страшная, как кочегарина тёща! На меня сверху вниз: «Кулаком работайте!» Я давай сжимать-разжимать. А иголка будто удлиняется... «Всё, сжимайте». Мне бы, дураку, отвернуться или зажмурить-

ся. Так нет, думаю, отвернусь, подумают – струсил. Зубы сильнее сжал. И во все глаза на шприц. Девчонка – раз! – иголку под кожу. Чуть не взвыл. Медсестра: «Чего ты делаешь? Не видишь – мимо! Вынай, по новой давай». Я мычу, как корова. Школьница иголку вынула – ещё раз! У меня в ушах грохот. Медсестра улыбается: «Вот так бы сразу! Эй ты, давай, следующая». Ещё одна подходит, давай за штуку тянуть, кровь выкачивать... У меня вода в глазах. Терпеть, думаю, терпеть! В шприце кровь – половина, густая-густая. И будто чёрная. И ощущение такое в руке... Слышу сквозь пелену: вокруг – шум, гам. Разглядел кое-как: дети бегают, медсестра матерится, с пола что-то поднимают. Я смотрю – ёлки зелёные! – школьницу мою, которая кровь выкачивала. Смотрю – рука. Из вены иголка торчит. Шприц никто не держит. А кровь всё течёт!.. У меня перед глазами поползло, поползло... И чернота! Очнулся: халаты мелькают. Присмотрелся – всё там же, на стуле. Одно это «дитё» мне руку держит, чтоб кровь не шла. Увидела, что я очухался, в сторону отскочила. Я руку согнул. Остальные на меня не смотрят, около кушетки возятся, «упавшую» обмахивают – медсестра, школьницы, тётки какие-то. Я по стенке, по стенке, чтоб никто не видел... В теле слабость, ноги как два шланга. Мимо всех... До дома как добрался, не знаю. С матом-перематом, наверное. И всё! С тех пор решил: кровь сдавать там, уколы какие – ни-ни! Это ж смерти подобно! Да что, ещё раз не выдержу... Ой, блин!.. Что ж никак не остановится?..

Он глянул на согнутую руку, быстро отвернулся. Пружинны скрипнули, словно хихикнув на своём железном языке. Где-то далеко хлопнула дверь, мимо кто-то прошагал (должно быть, повариха), громко стуча каблуками. Неожиданно выглянуло солнце, бросило косые жёлтые полосы на койки.



– И чего? – жадно спросила женщина с родинкой.

– Чего? – Он хмыкнул. – Чего-чего? Жить надо, а не по больницам шляться. Чего! Угораздило. Сейчас так, ерунда. А вот когда работал...

Он вдруг чихнул – так громко и неожиданно, что все вздрогнули и тут же засмеялись из-за этой оказии.

– Эх-хе!!! О! Правда! – Вытер нос ребром ладони. Продолжил, улыбаясь с невольными слезами на глазах. – Тогда, помните, каждый год – День донора. Кровь сдавали. Сейчас уж нет. День донора есть, а доноров с гулькин нос. А что-нибудь взрывается, то ГЭСы, то АЭСы. А тогда все знали, вот День донора, и много сдавало. Отгул, кормёжка и по сто пятьдесят червивки... Ну я, естественно, от этого дела отстранялся... Самоотвод, так сказать, брал... Подшучивали. Юрка особенно. Он юморист, всегда как скажет – мы с ним ещё в школе учились... Ну, я как-то, как-то – мимо этих Дней... Один раз чуть не насильно утянули – дружки, блин. Пришлось набулькать за воротник – а всё, после этого дела нельзя!.. А тут уже Дни донора – вяло, вяло... Времена такие, самим не до себя. Да тут уж – не помню – где-то что-то рвануло? Иль землетрясение. Короче, срочно нужна кровь!.. Про меня забыли, привыкли, что не езжу. А тут вдруг Юрка подкатывает; давай, мол, Коль, чего как маленький?.. А у меня момент такой был, надоело всё до чёртиков. Вот, думаю, тема. Вот и отдых! И ведь для людей! Люди там страдают – что я, волосы седые... «Ладно, – говорю. – Поехали!» Решили: следующим днём – как раз попадало: отгул и выходные – три дня отдыху!.. Весь день про отдых думаю. Поллитры взял у бабки одной – за холодильник спрятал. Удочки починил. Думаю, на рыбалку съезжу, сто лет на рыбалке не был. Сало из погреба достал – в банке. Всё приготовил. Спал как ангел. От одной мысли легче стало; думаю, отдох-

ну хоть раз в жизни!.. Утром собрались. Дождичек мелкий. Холодно. Лужи. Стоим, как дураки, носами шмыгаем. Оказалось, кровь сдавать не тут, в избушке на курьих ножках. «ПАЗик» подкатил. Залезли, автобус пустой, мы да две старушки... Автобус трясёт, картишки с сидений слетают. Бабульки в углу соседям кости перетирают. Бобров – улицы сырые, серые, как мыши. Довезли нас до больницы, выгрузили. Мы бегом лабораторию искать – с утра не жрамши, в животах урчит, кишки узлом. Юрка как Сусанин – туда за ним, сюда за ним. Еле нашли. «Вот, – говорим. – Кровь сдавать. На благо Родины!» А помещеньице как новое – а может, не новое, не был-то ни разу – чисто вокруг. На втором этаже, в углу... Тётка одна: «Так, по одному давайте...» По стенкам тут стулья откидные. Диванчик маленький. Столик, как с нашей мебельной – ДВП с ножками. Юрка меня локтём: «Ну как, санаторий?» – «Да, – говорю. – Только жрать не дают». Он меня опять в бок, лыбится: «Чего, первый пойдёшь? Как Гагарин?» Все давай ржать. Меня злоба взяла! Вот, думаю, сволочи! «Ладно, пойду...» Встал, ноги стеклянные. А неприятно – ух-х-х! Я в затылке поскрёб: «А сам-то? Мы за тобой по лестнице мотались. А как дело – за спинами. Депутат! Бабайку испугался?» Все в смех. Дверь открывается, кто был впереди, уже выходит. Юра встал: «Ладно, – говорит. – Дыши носом. Последний раз спасаю». У меня гора с плеч – поживу пока. Сел. В голове стучит, мерзко так на душе... Ага... Ребята анекдоты, и про политику – с шутками, с матом. В коридоре старушки, мамыши с детьми – хмурые. А мы ржём. И они тоже – в улыбку, в улыбку... Я сижу, в ушах точно барабан, слов не слышу. Отвечаю невпопад. Юрка «отстрелялся», пошёл в буфет столик занимать... Я себя успокаиваю – ещё хуже. Лучше б первым пошёл... Всё, думаю, сейчас зайду. Выходят – я всё сижу... Ладно, ду-

маю, ведь не для себя. Я-то чего? Там кровь нужна. Чёрт с ней, грохнусь, но ведь для дела, для людей... Смотрю, наши почти все. Выйдут, посидят и кто куда – кто в буфет, кто в нужник, будто ещё и терпеть надо было... Я представил: операции, переливания, а крови нет. А я тут ломаюсь... Успокоился немного... А уже и один! Встал, ноги затекли. Захожу. Комната небольшая. Стол. Кушетка. Штука какая-то, пакет прозрачный висит. Каталка железная каким-то чёртом... Медсестра в белом халатике. Я спокойно прямым шагом на кушетку – полулёжа. Закатал рукав... Решил я железно – всё будет нормально! Нормально и точка!.. Медсестра за палец меня взяла – вроде из пальца кровь брать... Я на неё смотрю... Что-то, что-то, блин, не так!.. Так сосредоточился, аж не заметил, как кольнула... Гляжу на неё – жгутом руку перевязывает... Так-так-так! Маленькая, щуплая, очки на пол-лица. Волосы рыжие в хвосте... Так-так-так! Вспомнилось! Все эти школьницы вспомнились – как под дых ударили. «Так-так-так! – говорю. – Опять!» Она уставилась, глазами хлопает. Я вытянулся: «Узнала? Фашисты чёртовы! – Всё у меня клокочет. – Та-а-ак! Садисты!» Она рот разевает, глаза на пол-лица. «Та-а-ак... – говорю. – Тренироваться не на ком? Недоучки чёртовы!» Она вскочила, встала посреди комнаты, как истукан. Руки опустила. Рот разевает как рыба. И красная вся, точно помидор. «Чего молчишь?» – От нервов голос у меня осип... Тут – бабах! – дверь хлопнула. Влетает какая-то баба. Здоровая. Халат зелёный. В руках тряпка. Хлобысь мне этой тряпкой по морде! Я очумел. Она, смотрю, тоже. Дышит как паровоз. Я тоже. Сижу – она стоит. Смотрим друг на друга, как две собаки. И тишина!.. Не знаю, сколько мы в эти гляделки играли. Щека горит, сердце прыгает. Тут она басом: «Ты чего?» Я и ответить – язык не ворочается... «Ты чего устраиваешь, а?» И тряпкой

перед носом – кулак, как два моих. – Тебя чего, звали? Ты чего тут?» Я вроде и громко, а шёпотом выходит: «Кровь... сдавать...» И вроде на руку – она в жгуте. Баба сердито, как медведь: «А чего устраиваешь? Тебя сюда звали? Чего ты? Кровь сдавать – сдавай! Дебош устраивать! Ты у меня полетишь отсюда!» Я головой мотаю... «Успокоился?» Киваю – да, мол, успокоился. Она развернулась, вышла... Я сглотнул. Чего делать, не знаю. Весь будто каменный. Смотрю, медсестра рядом садится. Шприц берёт... Мне как-то... Щёки у неё влажные, нижняя губа дрожит... Я отвернулся, в стенку взглядом... Короче говоря, взяла она у меня кровь – я и не почувствовал. Только напряжение – виски давило. Слышу, она еле-еле: «Готово». Я даже не понял, чего готово? Встал – она отвернулась. Я постоял немного. Уходить, у двери остановился... Чего сказать, как?.. «Ну, – говорю, – вы уж меня...» А чего? Чего дальше?.. Она чего-то там возится, будто не слышит. Ну, я и вышел... Вышел. Погано на душе. Неудобно. И тут меня – бабах! – ёлки-палки, кровь же я сдал! И ничего! Вот он, на ногах стою! Так радостно сделалось. Смотрю, дружков моих нет – в буфете, должно быть. Вроде и поседеть надо, а я туда, к ним, как на крыльях... Тут – так! – что-то знакомое... Халат зелёный... Елки-палки, эта баба! Швабра. И она эту тряпку в ведро с водой суёт!.. У меня всё поплыло. К горлу подкатило. Я бегом – ноги подкашиваются – дверь, туалет... Как уж меня рвало!..

– Зарекалась ворона, – вставил мужчина с прилизанными волосами.

– Не то слово! – Коля потёр «здоровой» рукой затылок. – Просидел я в туалете. То рвёт, то перестанет. В глазах слёзы. Всё расплывается... Проморгаешься – вроде ничего; две минуты – опять. И сил нет. Выйду – опять схватит. Залезу назад, чуть не на четвереньках... Измучился – мама до-

рогая! Еле-еле вылез. Кое-как – вниз, к своим, до буфета. Точно сто лет шёл... Прихожу, кореша мои за столом – уже поддатые, морды красные. Меня увидели, чуть не попадали... Юрка отдышался, слёзы вытер: «Ну, ты даёшь! Откуда такой вылез? А мы уж с ребятами твоё выпили. Думали, не вернёшься». Я за дверь цепляюсь. Лечь бы сейчас... «Ну, – Юрка говорит, – тебе только дай!» Тут опять – чуть не грохнулись. Это Ленка моя. Пьяного меня привозили домой, она так орала: «Тебе только дай». – «Ладно, – Юрка, – давай быстрее, автобус сейчас отойдёт». Они бегом. Я еле-еле за ними. В автобус влезли – битком. Юрка меня за руку: «Садись, вон место свободное». Я ему: «Да иди ты!» Поручень обхватил как маму родную – вроде держусь... Тут вон старики – садиться стыдно. Но, думаю, три дня! Три дня! На рыбалку съезжу. И люди... Даже представилось: на кроватях обгорелые с головы до ног. Ничего, кровь в дело пойдёт! Дружки ещё смеются: «Тебе только дай!» Юрка им: «Ладно, лбы. Вам бы так! Вон корёжит, так ничего, сдал. Через силу, а сдал... А вы ржёте...» Я с поручнем в обнимку, глаза слипаются. Приеду, думаю, и дрыхнуть. А завтра на рыбалку!.. Если б не эти мысли, и не доехал бы, наверное. До дома дошёл. Дверь отпер. Туфли кое-как стянул. Сплю на ходу – пятками грохаю. Кровать. Упал мешком – не раздеваясь, поверх одеяла. И как провалился... Проснулся – тьма кругом. Тихо, только холодильник дребезжит. Жена ещё с работы не пришла. Лёшка, видать, на улице бегаёт. Лежу на брюхе. Хотел пошевелиться – как в спину вступило! Я аж зажмурился! Пошевелиться не могу! Всё, думаю, парализовало... Внутри всё перевернулось. Никогда я такого страха не испытывал! Один. Темнота. Шевелиться не могу. Паника волнами хлещет!.. Сколько лежал, не знаю. Казалось, в аду побывал. Столько муки никогда не было... Тут слышу, дверь

открылась. Ленка моя с сумками еле ноги переставляет. Я уж и орать хочу – звук не идёт! Чуть дёрнусь – болью окатывает... Вошла, свет включила, а я на кровати – тут как тут. Силы кое-как нашёл: «Всё, – говорю, – спина...» Она губы сжала, куда-то сбегала... Приходит. Рубашку с меня стянула. Боль адская. Давай спину чем-то растирать. Чувствую, запах какой-то... «Чего это?» – говорю. А она: «Самогон. За холодильником нашла». У меня аж слёзы выступили. «Больно?» – говорит. «Да, – говорю, – очень...» Оказалось потом, в автобусе просквозило... Окошко раскрыто... Да и нервы... Короче, провалялся я свои выходные на пузе – встать не мог. А потом ещё неделю не разгибаясь... Вот такая вот рыбалка!

Дверь в палату распахнулась. Упрямым шагом вошла медсестра с белым подносом в руках. На подносе шприц, вата. Но вместе с подносом внесла что-то ещё, что-то забытое, утерянное – ощущение больницы. Всё так же пахло хлоркой. По оконному стеклу мягко ступал снег, а стены были казённо-белыми. К рукам привязаны сосуды капельниц – их долгое время не замечали, а тут – вот тебе! – одна уже кончилась. Не считали капли, не уловили, когда.

Медсестра нагнулась над мужчиной с прилизанными волосами. Сделалось шумно. Заскрипели пружины коек.

Коля вновь принялся говорить, но шум нарастал, комкая его слова. И глядели уже не на него – на медсестру, точно дети, вернувшиеся в родное лоно.

– Кровь... Как можно? Она ведь через сердце. Может, в ней жизнь... А мы? Везде, во все пробирки, по всем углам, направо, налево. Просто так. «Проверить!» Ладно для другого, жизнь спасти... А так, мёртвым грузом... Ведь жизнь в ней!.. Больницы... Жизни нет, воздуха нет... И здоровья...

Кому тут здоровье нужно? Тут бумажка. За неё тебя и купят, и продадут. Одно вылечат, другое угробят. Лекарств море – чего лечить придумают. Один врач одно скажет, другой – другое. Одни таблетки, потом другие, третьи. Побочные эффекты, почки. И всё заново, по кругу. Всю жизнь лекарства глотать. Тут чтоб лечиться, здоровье нужно, как у быка... Сюда – только помирать... А кровь... Может, жизнь в ней. Душа. А мы её... то тут, то там – без дела...

Медсестра выпрямилась. Взяла поднос в одну руку, стойку – в другую. Скрипенье коек утихло, но Коля уже молчал. Медсестра вышла, ногой захлопнув за собой дверь.

Все глядели на Колю с вернувшимися улыбками, точно ожидая: вот-вот – и он снова начнёт рассказывать. Но Коля молчал.

Тут дверь распахнулась, просунулся какой-то мужчина в чёрном пальто и чёрной, как смоль, ушанке.

– Сидишь? – сердито спросил он. – Прописаться решил?.. И брешет!.. И брешет, и брешет! Когда ж язык отвалится? Вставай, давай.

Он схватил Колю за здоровую руку, пытаясь оторвать его от койки. Коля вяло сопротивлялся:

– Ну, ладно тебе... Отстань!.. Ещё не прошло...

– Знаю я твоё «не прошло». Пошли! Там пулемёт стынет!

Коля нехотя встал, подтянул одной рукой штаны. Сделал несколько шагов – робко, как ребёнок. У дверей обернулся:

– Ну, давайте! Не болейте тут, а то увижу, болеете – как вернусь, надаю лещей... Всё, бывайте!

И ушли.

Постояльцы пятой палаты ещё улыбались.

– А кто ж это был-то? – спросила женщина с родинкой.

– Колюха Юрцов. На нашей улице живёт, – ответила полная.

– Чего, пьёт он?

– Да как сказать... Вроде и нет. Полгода-год не пьёт, потом как даст! Бывало, с кулаками к жене. А она такая – обратно ему. Один раз, помню, ходит, морда вся в пятнах – точки какие-то. Оказалось, он с горячего – в крик, а она у плиты. И в морду ему борщом... А так мирно вроде живут. Детей четырёх воспитали. Кто где сейчас – кто в Воронеже, кто в Москве. Младший осенью в армию пошёл...

Она умолкла.

Они лежали. Улыбки ещё были на лицах. Восковые улыбки. Казалось, вместе с Колей исчезли и лёгкость, неподдельность, пульсация живой энергии. Воздух вновь сделался спёртым. Из щелей, из-под коек выползло молчанье – изнурительное, невыносимое. А они лежали. Кожа их в тусклом свете казалась жёлтой. Глаза – пустыми. Ненужные друг другу люди, связанные лишь общими ранами. Люди, у которых нет ничего своего, кроме этих ран, что они готовы носить их напоказ – с тайной гордостью. Безразличные ко всему. Неживые. В единственном доступном для них месте – здесь, где такие же, как они, в этой палате. Но даже среди своих далеки друг от друга, вероятно далеки.

Полная вдруг спохватилась – кровь у неё давно перестала идти. Она поднялась. Стянула простыню с койки, сунула в пакет. Надевая пальто, отчиталась:

– Всё, побежала. Увидимся ещё.

Слова будто ушли в пустоту.

– Я... Мне вообще... – продолжила испуганным голосом.  
– Два раза... Прописала два раза капаться. Так я почаще...  
Раза три-четыре. Так всё как-то... – Она не смогла окончить.  
Неловкость щипцами тянуло из неё что-то заветное. Борясь с собой, она вышла.



Дверь оказалась распахнутой. В палату ворвался гул голосов, как порыв ветра, рвущийся отсюда, из этой темницы, на волю – к снегу, к низкому небу.

Я глядел на людей в палате, на их застывшие лица. Последняя ампула, думал я, последняя капельница. И всё... Никогда не возвращаться. Быть там, в мире живых. Дышать сладким воздухом. И чтобы редкий день был похож на другой.

Полноватый мужчина вздрогнул, проснулся. Часто моргая, уставился на свою бутылку:

– Гляньте, вроде кончилась у меня? Кажется, кончилась?..



# ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ИГРА

*Посвящается Карелу Чапеку и его  
«Рассказам из одного кармана»*

Э то случилось в одной из балканских стран. Стоит ли говорить, в какой? Думаю, нет. Лишь следует знать, что там всегда было беспокойно. История доказала: один выстрел в тех краях может обернуться войной во всём мире. Всё произошло на границе.

Поезд стоял уже более получаса. Люде в форме дотошно осматривали документы. Служебные собаки тёрлись о ноги пассажиров и бесцеремонно лезли носами в раскрытые сумки. Приятного в этом мало. Недовольное сопенье и скрежет зубами – верные спутники сей процедуры.

В одном из купе поднялся шум. Человек с гладко уложенными волосами кричал: «Уберите собак! У меня аллергия! Я не переношу собак! Я – британский подданный!» На носу у него очки в тонкой оправе. Цвет глаз – карий. Рост – не более метра семидесяти. Гладко выбритые розовые щёки, дорогой костюм и то, что в купе он ехал один, говорило: человек этот – птица высокого полёта.

Служебная овчарка настороженно водила ушами.

– Посторонитесь, посторонитесь, я сам займусь, – услышался чей-то низкий голос, и в купе вошёл высокий мужчина с по-лошадиному вытянутым лицом.

Иностранец не разбирался в мундирах и знаках различия, но то, что вошедший имел другую форму, нежели по-

границники, дало повод предположить: человек этот из иного ведомства.

– Прошу извинить. Мы всё уладим, мистер... – На по-деревенски простом лице отразилась добродушная улыбка.

– Мистер Моррис, – иностранец расположился у окна, раздражённо закинув ногу на ногу.

– Хорошо, мистер Моррис. Я думаю, мы сможем обойтись без собак. К чему недоверие? В наше время человеческие качества, увы, не в цене. Моя фамилия Вукчич. – Допустим, он назвался совсем не Вукчичем. Признаться, я не расслышал имени, так как стоял в тот момент довольно далеко. Но было бы несправедливо оставить одного из героев этой маленькой истории безымянным.

Слова он закрепил улыбкой, показав крупные белые зубы. Мистер Моррис натянуто улыбнулся в ответ.

– Животное наследило. Купе пропахло псиной. Мне душно...

– От всего сердца прошу нас простить. Необходимость, правила! Мы и сами не рады, – Вукчич уселся напротив. – Покажите ваши документы... если не затруднит.

Иностранный гражданин протянул какие-то книжечки. Вукчич раскрыл одну из них, но смотрел поверх листков, на лицо мистера Морриса.

– Позвольте узнать, куда вы направляетесь?

– Какое это имеет...

– Такая уж работа!

– В Н\*\*.

– Думаю, вам понравится этот город. Зачем, если не секрет?

– Не секрет! К чему мне секретничать? Я еду поучаствовать в ежегодном соревновании у господина К\*\*, по адресу: проспект Красных цветов, строение три. Я часто там бываю, можете спросить у господина К\*\* – он мой старый

друг. Если бы не мучение на границе, я бы сказал, что бильярд – лучший отдых в мире.

– Бильярд?! – Вукчич не сдержал удивления. Вообще он не стеснялся в выражении чувств. Он удивлялся шумно, улыбался с большой охотой и, как казалось, от чистого сердца. Волосы у него редкие, русые. Глаза чёрные. Черты лица, как и всё тело, крупные: крупный нос, губы, крупные руки.

– Я увлекаюсь им с самого детства. С шести лет. Если у человека нет увлечения, он, по-моему, неполноценный. Бильярд, шахматы, марки – разве это преступление?

– О, вовсе нет. С самого детства заниматься бильярдом – думаю, вы счастливый человек.

– Документы... Они вам больше не нужны?

– Возьмите.

– Долго мы ещё будем стоять?

– Столько, сколько потребуется. Ваши очки, вы плохо видите?

– Очки?! Я, знаете ли, думал, тут купе, а не кабинет окулиста! Что за вопросы? Я-то думал, разговариваю с представителем власти, а не с врачом! Очки?! Я еду... Я работал целый год! Я еду отдыхать! А вместо этого битый час стою на вонючей станции, в купе, пропахшем псиной и табаком, и ещё какой-то господин цепляется к моим очкам! Я, наверное, задохнусь в этом поезде, у меня лопнет голова!

Мистер Моррис залился багровой краской. Возможно, ему стало трудно дышать.

– У вас приступ? Вам нужен доктор? – спросил Вукчич, вытянувшись вперёд.

– Этого ещё не хватало! Я хочу, чтоб мы наконец-то тронулись! Мне дурно, но я справлюсь без вашей помощи. Какого чёрта? Если у вас нет больше вопросов, то я проведу остаток пути в одиночестве! С вашего разрешения! Мои документы в порядке? Если так, то я хотел бы побыть один!

Вукчич кивнул:

– Ну-у-у... А как быть с очками?

– С очками? Ладно. Если вас позабавит, я могу снять их. Пожалуйста! Ума не дам, какое это имеет отношение...

Пока мистер Моррис, тяжело дыша, вытирал платком взмокший лоб, Вукчич со всех сторон осмотрел очки – тонкая позолоченная оправа, хрупкие линзы.

– Да, – сказал Вукчич, – линзы настоящие. Здоровому глазу через них ничего не видно.

– Ну наконец-то! Истина восстановлена! Можете их арестовать. Если они сознаются в убийстве, я не удивлюсь – у вас даже камень потеряет терпение! Всё?! Я могу отдохнуть?

– Не волнуйтесь, – успокоил Вукчич. – Успеете отдохнуть. Скажите, давно у вас... проблемы со зрением?

– С четырнадцати лет. Я нарушил закон?

– Не убивайтесь, всё не так уж и плохо... Хотя, кто знает... – Он вернул очки. – И что же вы везёте своему другу на улицу Красных цветов?

– Всякую мелочь: пару сувениров, кий, бильярдные шары, книги... Продолжать?

– Нет-нет, достаточно. Простите, что пришлось... Что так получилось. Работа!.. В общем, к вам больше нет вопросов. Приятного отдыха.

Мистер Моррис облегчённо вздохнул. Мне со стороны показалось, что для него это было что-то вроде маленькой битвы. Битвы, из которой он вышел победителем.

– Скажите, а ведь это как-то странно, – заметил вдруг Вукчич у самой двери.

– Что вам понадобились мои очки? Пожалуй, да...

– Нет, я не про это. Вы сказали, что любите одиночество, а сами отправляетесь на соревнования по бильярду... К тому

же очки... Понимаете, человек, увлекающийся бильярдом, носит очки – это очень, очень странно. Я поясню: человек, более-менее увлекающийся бильярдом, обычно имеет натренированное зрение. Дело в том, что во время игры хрусталик находится в постоянной работе, глаз следит за передвижением шаров. В каком-то смысле это лучшая гимнастика для глаз. Впрочем, в вашем случае может быть следствие болезни или травмы... Что ещё?.. Ах да! Багаж! Вы везёте на соревнование по бильярду собственный кий – это понятно. Но!.. Собственные шары?!. Согласитесь, полное безумие...

Иностранец побледнел.

– Крстаич, собаку!

Поговаривают, у иностранца, мистера Морриса, нашли детали взрывного устройства – и всё там, в бильярдных шарах, которые он вёз на улицу Красных цветов. Кто-то утверждал после, что в багаже нашлось ещё место пулям и деталям пистолета, запасу наркотических средств и паспортам на разные имена. Впрочем, насчёт последнего я не имею абсолютно никакого представления. Из вагона в вагон я следовал за широкой спиной человека, названного мной Вукчичем.

В третьем от головы поезда вагоне его остановил тот самый Крстаич.

– Ловко, – сказал он. – Сколько вы нам уже помогли? Три раза, пять? У вас талант!

– Да бросьте, – на лошадином лице появилось что-то похожее на грусть. – Я двадцать лет как бригадир этого поезда. На своём веку я повидал немало негодяев... Как же мне это надоело!

Мистера Морриса вывели под руки. Он не кричал, не сопротивлялся. Лицо его было бледнее самого холодного февральского утра.

Поезд следовал дальше.

# РЕКА И ЕЁ БЕРЕГА

## 1

**В** смелом одиночестве, примкнув к сухому дубу, стояла юрта старика Хархута. Волны диких земель окружали её – ещё жёлтые прошлогодней травой, ещё обожжённые пятнами рыхлого снега. Бледно-голубой купол небес разламывался грозами первых дождей. Гудел огонь, поглощая коренья, лизал высушенные крылья орлов и клювы кочетов. Огонь грел кости старика Хархута, румянил дряблую кожу, вплетал дым в седину волос – раскосые глаза слезились старостью.

Целые народы были подвластны Хархуту. Великие ханы просили его совета. Духи огня и воды, ветра и песка были покорны воле старца. Все шаманы считали его своим дедом. Весь мир считал его своим дедом. Так стар был он. Так мудр был он. Он родился давным-давно среди людей, что звали себя Детьми Полыни. Да и родился ли? Кто помнит своё рождение? Чем дольше живёшь, тем бледнее память о детстве... Был Хархут юн, а тех, кто видел его рождение, смарала старость, сырая земля покрыла их прах... и детей их, и внуков. Да и где теперь Народ Полыни?

Многое видел Хархут в своей жизни. Он был на востоке, когда кости великанов обернулись там в горы. Он был на юге, когда упавшие с небес джины сожгли дыханием земли, превратив их в пески. Раньше весь мир был – Мать Степь. А

теперь: горы и реки, леса и моря... Всё меньше её – колыбели народов. Вот и здесь уже протянулась река, будто крепкая длань с голубым рукавом легла в первозданную степь. И людей становилось всё меньше – в новые, юные земли уходили они.

Теперь Хархут был один – давным-давно одиночество стало ему по душе. И время... Время сильнее бури, оно гнёт и гнёт деревья, пока те не рухнут трухой. Богатырская сила ушла давно по тропе из лунного света. Кости стали хрупки, мышцы слабы. В ноги закрался холод, в голову – ленивая пустота. И стали приходиться сны.

Хархут мучился этими снами. Он потерял покой.

Сон первый был, когда Луна вставала ярким шаром, а Звезда Пастухов колола в бок Змею. Хархут сомкнул глаза, и тут же бездна разверзлась у его ног. Он падал: в ушах гудела скорость, безумно свистел воздух в воронке бесконечной пропасти. Он ничего не видел, точно слепой, но чувствовал, как пульсировала кровь – необычайно сильно; все мышцы напряжены. Но тут какой-то звук – будто скрип ржавых петель... И вдруг птичий крик – неприятный, страшный. Крик птицы, что водится лишь в глубинах провидческих снов.

Хархут проснулся на мокром от пота ложе. Его бил озноб. Он протянул руки к остывшим углям очага.

Испокон веков знал Хархут имена звёзд и духов, что прилетают с них. Он видел сквозь тени времён судьбы народов. Он знал всё. Но смысл страшного сна, смысл крика, разорвавшего тьму, он не мог понять.

Проходили дни, как караваны туч на небе. Зажигалось и гасло солнце, скрываясь в холмах. Вот Луна уже всходила серпом. Хархут ложился спать, но странные сны не давали покоя. Он засыпал и видел: чёрная земля, рассечённая тре-



щинами; светящееся фиолетовым блеском небо. Мир плоский, точно нарисованный прутом на песке. И на границе земли и неба единственное не плоское – маленькие человечки, пляшущие деревянные куклы, такие же чёрные, как мир вокруг. Танец маленьких кукол – нескладное дёрганье крошечных ручек и ножек.

Хархут просыпался. Мысли копошились, как мыши в норах.

«Зачем эти сны? – спрашивал он холодную ночь. – Зачем они приходят ко мне незваными гостями, зачем наводят страх? Никто не звал их сюда. Нет для них в юрте места. Разве я заслужил мученье в стране Грёз? Зачем они тревожат мой покой после стольких веков моей славы?»

Но что могут слова, обращённые в никуда?

Лишь засыпал Хархут – перед взором всё тот же непонятный мир.

Время шло. Никакие мольбы, никакие преграды не могли остановить его ход. Старик страдал. Глаза его впали, руки стали дрожать. Время не приносило отрады. Что ни ночь – то сон.

А во сне – деревянные человечки. Но нет теперь танцев. Теперь другое: они стоят у чёрно-угольных холмов. Стоят в тишине. И тут сгибаются разом. Хархут видит: они копают. Комья земли взлетают поверх безликих голов. Старик просыпается. Во рту сухо. Он пьёт холодную воду, черпая её иссушёнными ладонями. Брызгает ею в лицо, лишь бы не засыпать. Но разве можно не спать? Даже былой богатырь не может без сна. Усталость подламывает ноги.

И каждую ночь один и тот же сон – люди, копающие яму. Ни заговорить от них жестокое ложе, ни бросить в огонь сноборческих трав. Всё без толку.

Хархут скликал духов, сзывал их со всех концов Земли. Быть может, сидя по тёмным углам, летая среди звёзд, они слышали, знают, отчего те сны и как их унять. Но духи не шли на зов. Хархут распалялся гневом. Сердце билось часто и громко, как молот в кузне. Глаза горели злобой. Он сеял песок, кормил огонь перьями птиц... Но и тогда духи оставались безмолвными.

Вены вздувались на шее старца от неслыханной дерзости живых теней. А его глаза? Вместе со злобой в них был и страх.

Уже много лун сменилось на небе. Звезда Пастухов колола Тельца, а с того дня, как птичий крик вторгся в сон, не было и нет разгадки, лишь всё больше тоски да тревоги. Никогда раньше Хархут не испытывал страха. Первый раз это чувство тронуло сердце. Не испытывал он страха, сражаясь с грозным Корчаком. И когда чудовищный великан Депегёз стоял против него в бою, не было этого. Когда пчелоподобные духи с тёмной стороны Луны свалились на Землю, неся с собой мор, он изрубил их кнутом без этого чувства. Ещё много было такого, что любой человек омертвел бы от ужаса. Всего не перечесть. Но страха... Страх Хархут не ведал. Да вот теперь, в седую старость...

Духи молчали. Сны раздирали душу.

Нет уже сил! Угли в очаге вспыхнули ярче. Хархут разметал их по земляному полу. Рыжий червяк пламени закопшился в соломенном ложе. Хархут откинул полог у входа, чтоб ветер питал огонь. Красные языки запылали то тут, то там. Оленья кожа чернела. От жара задрожал воздух. Белка пламени прыгнула на сухой дуб – задымил, запылал и он.

Широкие стебли травы колыхались у ног Хархута. Только старый-престарый бубен взял он с собой. Пожар догорал далеко за спиной.

«Должно быть, что-то сильное завелось в моей юрте. Облюбовало место, в котором жил я, – думал Хархут. – Пусть облизывает теперь огарки костра».

Жёлтым колесом катилось солнце. Жемчужные облака плыли в вышине, до которой не достать ни одной птице. Сверчки пели в траве. Ветер раздувал седые космы Хархута. Бодрящий воздух заставлял кровь приливать к щекам. И не успел пепел осесть на землю, а тревоги Хархута уже улеглись.

Стаял давно снег. Зелёными волнами шевелилась трава. Мысли летели вперёд, поднимались с ветром в небо, вместе с зайцами бежали от норы к норе.

День прошёл яркой радугой, просвистел пёстрой стрелой. Солнце уплывало за горизонт. Хархут расстелил на траве плащ из бычьих шкур, бубен положил под голову. Всё так же без усталости пели сверчки – как утром. Глаза слипались в ожидании тишины и покоя. Глаза закрыты. Но вдруг – выжженная земля, люди-куклы роют почву в мрачном молчании... Хархут вздрогнул, замахал руками, отгоняя сон. С небес бледным ликом глядела Луна.

Сердце Хархута превратилось в комок боли. На лбу выступил пот.

«Нет! Не одолеть меня в этой битве! – крикнул он. – Я сильней во сто крат любой беды. Пусть попробует найти меня в море зелёных степей! Пусть попробует нагнать, когда ветер подхватит меня на плечи и унесёт за Край Земли! Никакой силе не угнаться за старым волком! Пусть седина в его шерсти, но в лапах – прыть былых погонь. Что ж, пусть пробуют злые виденья найти меня. Не так-то легко это выйдет!»

Только встало солнце, а следы Хархута уж исчезли.

Жаркие дни сменялись дождливыми. Бессчётным множеством рыскали звери по просторам бескрайних степей.

Золотой покров звёзд накрывал небосвод по ночам. Ветер менял пути, сдувал следы. Дробный ход времени утекал в пустоту; капли росы, стекая со стеблей, рубили его на куски и растворяли в снопах солнечных искр. Секунды срастались в минуты, минуты в часы. Проходили дни. Проходили недели. Неповторимые дни и недели. Да и бывают ли одинаковыми формы туч на небе, сочность их красок, близость к земле?

А время всё идёт, струится шумным потоком, точа камни.

## 2

Бескрайние, безлюдные земли остались за спиной у Хархута. Без дрожи в душе покинул он степь – свой старый дом, к которому так привык. Рыжая пустыня, каменные холмы, дремучие леса, седые пики гор... Ноги несли всё вперёд, к неуловимой черте горизонта.

Уже осень. Опадают листья, желтеет трава. Крепчает ветер. Всё чаще ливни ложатся на землю дымчато-серым плащом. Солнце ещё горит летним жаром, но утренних звёзд не обмануть – они чисты и холодны, точно после морозных ночей. А Хархут всё идёт и идёт. Он бежит. Ночью... Стоит ли говорить, что во снах? Ущербный чёрный мир, неестественные фигуры, роющие яму. Не скрыться, не убежать. Полмира истоптано. И Народа Полыни всё нет. Да и будь они где-то, не сгинь в водовороте народов, чем бы смогли помочь? Жизнь их сама, как сухая трава, вспыхнет – и нету.

Однако были ночи – и мысли о них в голове. Много воды утекло. Дети Полыни сильны и храбры. Жизнь несла их своим потоком – старики сменялись юнцами. Тесно

им стало в степи. Новые земли влекли. Но Хархут не хотел уходить: зачем, ведь здесь было ему хорошо. И Дети Полыни ушли без него. Хархут думал, они вернуться. Без всесильного героя, без заклинателя духов будет им тужо. Но они не вернулись. Быть может, они дали жизнь многим сильным народам. Но Хархута надеялся – тогда, давным-давно, – что много горя они хлебнут, уходя без него по берегу юной ещё реки.

Теперь вновь под ногами Хархута степь. Впереди полноводная река – широкая и буйная, точно дикая рысь на цепи. А значит, скитаясь, не разбирая дорог и сторон света, Хархут вернулся туда, где ранней весной, когда снег покрывал траву, он лежал у углей очага. Вернулся туда, где некогда стояла юрта – сейчас лишь горстка пепла, рассеянная по ветру.

Хархут опустился на землю.

Как много сил впустую! Не обмануть видений, не запутать следы, не спрятаться. Что-то внутри тяжелеет – там, в груди – наливается горькой полынью, жжёт. А в мыслях...

А в мыслях что-то жёсткое и сухое – заставляющее глаза невольно слезиться. Уже, кажется, есть там что-то, есть ключ к разгадке, но он так горек. Есть догадка, но от неё сердце обливается кровью и хочется выть по-волчьи. И меж тем злоба копошится в груди. Скрипят зубы. В глазах зажигаются красные искры.

Пауком подкрался вечер. Быть может, на этот раз удастся призвать к себе духов?

Из редких в степи деревцев и серо-зелёной полыни запылал костёр. Задымила трава-живокость, от которой слепые глаза вновь обретают силу. Красным цветком вспыхнул пучок востреца. Загудел от жара корень волчьей лапы, разбавляя чад сладким запахом мёда.

Немощный старик – дед всех отцов – лежал в дыму магического костра, в пряном тумане безумных снов наяву. Искры взлетали вверх. Костёр-солнце блуждал во тьме. Точно сердце – звук бубна: могучие удары, волны, бьющие о скалы, ход крови в венах. Глухой удар, ещё один... Дым раздвоенным языком тянулся к чёрному небу, дрожал покрывалом.

Какие-то тени поднимались на границе света и тени. Их еле видно – одни лишь фигуры, и те текут водой, изворачиваются; то вырастут у них крылья, то рога с петушиными гребнями...

Гул ветра, кружившего дым воронкой. А тени всё дрожат, кривляются, пляшут.

– Мои виденья... Отчего они? За что они?

И тут голос – чистый, точно трель соловья:

– Ты слаб. Ветер высушил твою кожу. Время выжгло волосы. Разве не знал ты, что смерть приходит ко всем? Она – гостья, что захаживает к каждому. Как ко всякому Великому, она пришла к тебе в стране Грёз. Она явила свою тень, дабы знал ты: вслед за тенью придёт и её хозяйка. Ужели неизвестно тебе? Не ты ли великий мудрец? Ты знал... Последняя зима осталась тебе, Хархут. Почему ты невесел? Расчеши свою бороду! Пляши вместе с ветром, пой с птицами! Налей в кубок вина! Сзывай старых друзей! Разве не для того смерть явила тебе свою тень, чтоб провёл ты последний год в развлечениях и пирах? Не для того ли, чтоб встретил её как Герой? Не многим дарована такая честь... Радуйся!

Но что ответил на это Хархут? Его будто молния ранила. В глазах запылал дикий огонь. Он уже не шептал, а кричал:

– Но в мышцах моих ещё много сил!

В ответ – тишина.

– Да разве я не мудрее мудрых? Разве не побеждал я в тех битвах, в которых нельзя победить?! После всех подвигов, что я совершил...

– Думаешь, ты заслужил бессмертье, старик?

И весёлый, как звон колокольчика, смех прокатился, за- тихая вдали.

\* \* \*

Розовой полосой на востоке начался новый день. Что принесло это утро? Лишь холод да росу.

Хархут всё в той же позе – ноги скрещены, ладони лежат на коленях. Он не заметил утра. В голове его – ночь.

«Что ж... выходит, нет спасенья. Никакие уловки не помогут. Я могу обмануть лису, могу обмануть самых хитрых своих врагов. Могу обмануть свою тень, если этого захочу. Но смерть... Нет! Не взять меня без боя! Пусть попробует!.. Пусть явится!.. Посмотрим, у кого острее когти! У кого в жилах огонь вместо крови!.. Смерть нашла меня в степи, нашла в лесах и горах. Она ищет меня на земле. Пусть попробует отыскать меня в студёных водах гремучей реки!»

Подумав так, он сорвал с себя плащ и бросил на воду. Тайные слова слетели с губ, и вот вместо плаща на волнах качается широкий плот.

Бурлит река. Клыками спускаются к воде берега. Взлетают брызги и пена. Гудят водовороты. Из воды вырастают скалы, подобно плавникам огромных рыб. Поток хочет вырваться из берегов – из клятых оков, туда, в бесконечность, где можно течь вечно.

Хархут правит своим плотом не страшась. Хрупкие кости, слабые мышцы – было ли это? От старости – лишь белые космы, растрёпанные ветром.

День прошёл, второй на исходе. Брызги секут лицо. Брови нахмурены. Весло намозолило руки. Плот несётся по бурунам – трещат брёвна, вздуваются мышцы. Глаза устали глядеть, как берега проносятся мимо.

Опускается вечер. Медленно ползёт по чёрному небу луна. Гнать сон от себя! Да разве с этой рекой уснёшь?

От ледяной воды покраснели руки. Холод впился в тело. Одежда промокла, стала тяжёлой, как каменная броня.

Но холод – пустяк, пока в груди что-то бурлит, как лава, стекающая с вершины дымящей горы.

«Что ж, поймала меня? Не бывать этому! Думала, я уже мертвец, осталось лишь душу вынуть? Нет, не быть тому! Я ещё поборюсь!»

Закатилась луна, и мир окунулся во тьму. Звёзды метались в беспокойной воде, словно испуганные светлячки; сводили с ума, будто внизу пропасть с тысячью глаз.

Из ниоткуда появился валун – огромный, как драконья голова. Но Хархут изловчился, отвёл гибель. Поток швырнул плот на берег, вставший каменным хребтом, – Хархут налёг на весло. Плот завертело так, что перед глазамиплыли круги, но и здесь он прошёл мимо смерти.

И так целую ночь.

Да что там ночь? Солнце всходило и гасло в шипящих водах.

Глаза у Хархута покраснели от усталости. Мышцы стонали от боли. Кожа дубела. На ладонях лопались пузыри.

Хархут терпел. Он искал боли, отгоняющей любой сон.

Что угодно, лишь бы не сон!

Что угодно...

Угольным цветом окрасились облака. Огненным ножом блеснула молния. Град захлопал по воде, застучал по скользким брёвнам плота. Всё скрылось в пелене летящих градин.



Льдинки рассекали кожу – она покрылась бусами крови. Осколки небесного льда засыпали плот, хлестали по спине, по ногам, путались в волосах. Всё тяжелее было стоять... Но ещё бушевало в груди пламя, рвалось наружу, разрывая рёбра. И только крепче сжимал Хархут зубы.

Град прекратился, обрушился ливень, каких давно не было в здешних местах. В одночасье размыло землю, и грязь водопадами хлынула с берегов. Вода реки и небесные струи смешались.

Но и это не сломало Хархута.

Он стоял прямой, словно жердь.

Одна мысль была в его голове:

«Что угодно, лишь бы не сон! Что угодно...»

\* \* \*

Но тут – река подвела.

Гранитно-серые скалы обратились пологими берегами. Течение стало спокойным. От воды потянуло запахом гниющих водорослей. Болотный смрад ударил в ноздри, а в ушах зашумели жабы «песни».

Опасность разбиться о камни, быть смытым потоком исчезла. А вместе с ней пропали и силы бороться со сном.

Ноги стали подламываться. Чёрная тьма гудела в голове. Мышцы обмякли на костях, точно студень. Веки тяжелели. В груди – только слабое биенье измученного сердца.

Пять суток провёл он без сна, борясь за свою жизнь. Пять дней и ночей на грани рассудка, сжигаемый болью и страхом, сжигаемый гордостью.

«Разве может смерть коснуться меня? Разве может она победить того, кто ни разу не проигрывал в битве? Разве не

заслужил я... Разве не заслужил я жить вечно? Так для кого сотворён мир? Не для меня ли?»

Но он ещё пытался стоять на ногах.

Слабыми руками Хархут поднял из воды весло, сел, положил его на колени. На ладони появился бронзовый нож.

Нестерпимых усилий стоило Хархуту вырезать в дереве глубокое «ложе». Он вырвал клоч седых волос. Он помнил, как звенела тетива; как бурлила кровь в жилах, когда стрелял он из лука, добывая дичь. Перед глазами плыли круги, невольные слёзы делали мир блеклым, погружённым в молочный туман. Хархут напрягал глаза. Он плёл. Плёл струны, когда день приближался к концу.

Облака зажигались оранжевым. Замерцала первая звезда – Звезда Пастухов.

Хархут приладил две струны к «ложу».

– Кобыз! – сорвалось с обескровленных губ.

Он провёл ладонью по струнам – те задрожали в истоме рвущихся наружу звуков.

В надвигающихся сумерках замолкли жабы. Перестали шуметь камыши. Болотная вонь исчезла, растворившись меж звёзд.

Хархут ударил по струнам. Закружились вихри. Где-то вдалеке затрещали деревья.

– Что за чудо – кобыз! – рвалось из груди.

Но уже ночь. Сил всё меньше.

«Только бы ночь продержаться! Одну всего ночь!»

И он бил по струнам. Он драл пальцы в кровь, а звуки кобыза шевелили ночной холодный воздух. Песни слетали с Хархутовых губ и носились во тьме белыми птицами. Что было в них, в этих песнях? Знает только холодная река, рвущая свои окопы, да далёкие звёзды. Может, сказы о боли и вечной любви? Может, славные битвы старых дружин и

радость цветка, растущего к солнцу? Может, свежий ветер и жар ханских огней?.. Некому рассказать об этом. Только безъязыкая ночь слушала песни. Слушала, как слабо трепетало сердце в старческом теле. Да может, это и было той самой песнью?

Рассвет заалел. Хархут повалился на брёвна. Сил не было больше. Сквозь веки он видел, как высоко в небесах летали птицы, как они играли, кружа в воздушных потоках. Плыли белые облака – нежные, словно детские щёки, парящие, точно пух на ветру. Он видел: из золотисто-красного света вырастает пламенный город с бронзовыми воротами. Стены из слоновой кости сияют бриллиантами, изумрудами, золотом. Шум весёлой толпы за теми воротами. Звенит сталь – то бьются древние воины на вселюдных пирах. Сияет радуга – льётся мёд из их резных кубков. И вдруг птичий крик – резкий, страшный. Крик птицы, что водится лишь в глубинах провидческих снов.

Бронзовые врата медленно открылись.

### 3

Скоро зима.

Ветер ревел, стонал. Клином летели птицы, уходя от холодов. Рычала лиса, прижавшись к земле.

В низких домах жили люди. Они шили одежды, учили детей стрелять из лука и ждали зимы; ждали, когда загорятся костры, и жар их сразится с иглами стужи. В их домах был покой и сладкая тишина, которую не ведают иные Герои.

Бездыханное тело старца вынесло на берег, когда вода начала покрываться тонким льдом.

– Хархут, – шептали люди. – Хархут...

Перед ними лежал тот, о ком слагали легенды. Тот, перед кем падали ниц великие ханы. Пал повелитель. Пал в тяжкой битве, о которой им никогда не узнать.

– Смотрите! Смотрите, что *он* держит в руках!

И человек поднял кобыз. Странно легко разжались мёртвые пальцы.

Человек провёл ладонью по струнам. Они зазвенели, рождая улыбки в лицах.

Да, пусть были нерешительными эти касанья струн. Но в первый раз в руках людей рождалась музыка. Не тайные звуки шаманских камланий, а музыка. В этот день она вошла в жизнь человеческую и осталась навечно – в горе и в радости, под солнцем и в тёмную непогоду. Всё начиналось тогда, из весла и седых волос вещего старца. И, быть может, он ещё жив, жив в каждой ноте... Он победил? Кто знает... Да только всё ещё поются песни.

А что же Хархут? Великие почести были отданы старцу. Все люди рыли ему могилу. И был, говорят, курган над его прахом, огромный, точно гора. И многое ещё говорили чудесного про ту могилу. Будто, если положить на неё кобыз, то он сам начнёт играть что-то стонущее, жалобное. А на деревянной его поверхности выступят слёзы. Говорят, и сейчас можно найти тот курган, где-то там, у гремучей реки. Но ты не верь этому. Уже многого нет. Курган сравнялся с землёй. Исчезла степь, и люди, что жили в ней. Забылись имена. И только река течёт, бурлит – днём и ночью, летом и зимой, под пологом льда. Она точит берег, навалившись всей своей силой, бьёт, крушит, ломает. Но берег стоит неприступной стеной. И так день за днём, год за годом – целую вечность.

## ЧЕРТА

Ночью пропал часовой. Никто не видел, как и куда он делся. Уцелевший кусок стены, прислонившись к которому стоял он – должен был стоять он – казалось, ещё хранил на себе его дрожащую от огня тень, ещё держал едкий запах его пота.

Так они и увидели то место: прогоревший до золы костёр, белый кусок стены и ощущение пропавшего человека. – Скотина, – сквозь зубы сказал кто-то.

Единодушным молчаньем они приговорили часового к расстрелу.

Ночью шёл дождь – скупой, как вороньи слёзы. Он шёл всего пару минут, бросая свои редкие семена на камни и расшитую трещинами землю. Он падал на чёрные от грязи бинты, запылённую тёмно-зелёную форму, худые заострённые лица. Офицер, почувствовав на своей коже тёплые капли, пришёл в себя. Его обескровленные губы раскрылись, ища прохлады – но её не было. Тело его содрогнулось. Душа тихо отправилась в небеса. Никто не видел этого. Кроме часового – но утром и того не было на своём месте. Так их стало шестнадцать.

Перед рассветом жара отступила, но без неё всё оказалось голым: и большой разрушенный дом, в котором они укрылись, и разбитые доски амбара, и красноватая, уходящая к горизонту почва. Почувствовав перемену, они начали просыпаться – шестнадцать человек в одинаковой форме – протирая глаза, выкашливая ночную боль. Но солнце

поднималось слишком быстро. Из бесцветного мир стал красным с чёрными проплешинами снарядных воронок.

Они вставали, стряхивая с себя пыль, разминая затёкшие конечности. Все они походили один на другого, будто случившееся наградило их общими чертами – худоба, тёмные волосы, узкие лица, сощуренные от пыли и солнца глаза. У всех одни и те же морщины, от грязи казавшиеся нарисованными углём. От этой же грязи юношеская поросьль на лицах походила на грубую мужскую щетину. И все они молчали, а если и говорили, то отрывисто, односложно, будто случившееся лишило их права речи. Все, как один, без черт, отделявших одного от другого. Лишь у пропавшего часового на правой руке не хватало безымянного пальца. Многие припомнили короткий обрубок, но никто не сказал этого вслух. И имени его они не могли вспомнить – они давно не называли друг друга по именам.

Кто-то разжёт новый костёр – к тому, брошенному, прирагиваться никто не хотел. Огонь затрещал, как холостые выстрелы. Кто-то принёс воды и поставил на таганок котелок с кофе. Кто-то разогревал жестяные банки с бобами. Мир стал наполняться запахами. Запах еды. Терпкий аромат кофе – от него одного во рту чувствовалась приятная горечь. Это были запахи дома: запахи тесных кухонь, просторных столовых, запахи узких закусочных в маленьких городах и трапезных в родных деревнях. Запахи жизни, запахи отдыха в дни труда; запахи, так сильно связанные с матерями, с шумом больших семей, что они – все разом – остановились и опустили глаза. И каждого начало что-то душить, вращая горечью поперёк горла, причиняя какую-то новую боль – слева, в грудной клетке.

И тут они услышали звук – рокотание и грохот – так отчетливо, так ясно, будто невидимая черта вновь приблизилась.

Они и раньше слышали его – все дни и ночи, каждую минуту и, казалось, всю жизнь, но убедили себя, что ничего этого нет, и он глож, как гложнет боль и голод, когда к ним привыкаешь.

Но сейчас звук потряс всех разом. Лица стали чернее, морщины глубже. Они вырвались из оцепенения, задвигались – как-то резко, зло. Еда перестала пахнуть домом. Когда они ели, пища казалась безвкусной, а кофе – просто горячей горькой водой. Песок скрипел на зубах.

Относя еду раненым, оставшимся внутри дома, они наконец-то увидели, что офицер мёртв.

Он лежал на спине, перевязанная голова сползла с буро-го от крови походного мешка, что служил ему подушкой. Рот открыт. Остекленевшие глаза распахнуты так широко, что казалось, душа вылетела напрямиком через них.

Офицер был старше их всех, и усы его были настоящими усами, а не запыленной юношеской щетиной. Тогда, давным-давно, когда они увидели его впервые, он казался им отлитым из чугуна – высокий, крепкий. А теперь лежал мёртвый, возможно, так и не осознав, где он, что с ним. Не высокий и не отлитый из чугуна – худоба выела и его, заострила лицо, сделав похожим на остальных, уничтожила и его черты. Лишь пышные усы выдавали, что он другой, не такой, как они – старше их, желторотых.

Солнце тем временем поднялось в зенит. Воздух накалился, начал дрожать и плыть. Однако самым тяжёлым была не жара. И не грохот войны, что долетал до них, проламывая глухую завесу неверия. И даже не брошенный часовым костёр, темнеющий золой, как чья-то серая распоротая душа. Безделье было страшнее. Оно давило и вытягивало. И все они старались заполнить его: чистили ружья, перекладывали оставшийся скарб, ходили меж балок и побеленных

стен, но это было так бесцельно, что только подчёркивало всю пустоту, всю бессмысленность их поступков.

Смерть офицера дала им надежду, наполнила действия смыслом.

Они рыли могилу там, где раньше был скотный двор – здесь ещё торчали колья забора, виднелись овечьи кости и грязные клочья шерсти. Земля оказалась утоптанной, но из-за навоза не такой твёрдой. Лопата была одна, и они копали, сменяя друг друга – обливаясь потом, с сердцем, бьющимся барабанной дробью. Но даже так, почти ломаясь от усталости и жары, старались копать как можно дольше.

Эту лопату они нашли тут же, среди развалин, в первый день. Вернее нашёл её человек без пальца на правой руке, когда пришло время закапывать повешенных женщин.

Ещё только подходя к полуразрушенному дому, стоящему среди безжизненной земли от горизонта до горизонта, они увидели две фигуры, висящие на балке разбитого сарая. Воздух и тогда дрожал от жара. Фигуры издали казались парившими в воздухе над грудой досок, как призраки. И, только подойдя ближе, стало видно, что фигуры – женские, и висят они на верёвках, стягивающих шеи. Все останавливались перед ними – на пару мгновений, не поднимая глаз, если и видя, то лишь оголённые раздутые ноги. Тогда, последний раз они говорили и как-то неестественно долго: о том, чьи были снаряды, нанёсшие вред и земле, и дому (кто-то говорил «свой»; кто-то говорил – «чужие»), чьи были пули, что изрыли землю, камень и дерево («чужие», – говорили одни; «свой», – говорили другие); но, в конце концов, склонялись к тому, что черта боя проходила по этим местам не раз и не два, отступая и наступая, как прилив. А женщины – кто это сделал?.. Об этом они не думали, по крайней мере, вслух.



Только солдат без пальца на правой руке стоял перед телами долго и долго глядел туда, куда боялись глядеть остальные – на лица замученных женщин. А когда солнце спустилось к земле, он, словно очнувшись, парадным шагом углубился в развалины дома и вернулся уже с лопатой – так быстро, будто знал, где её искать. Он залез на крепкую балку, перерезал ножом грязные верёвки – тела упали на доски с глухим, пришибленным стуком.

А позже он сколотил два, похожих на ящики, гроба.

Но пока он доставал из обломков гвозди, выравнивал их – молоток нашёл так же быстро, как и лопату – пока сбивал доски в тени уцелевшей стены, женские тела успели предать земле.

Он обнаружил это, когда сделал последний гроб.

Те, кто закапывал женщин, спешили, будто подгоняемые суеверным страхом (позже они вспомнили: мух над телами не было, и разложением от них не пахло). Человек без пальца на правой руке принёс гробы и положил их рядом с холмом – одним на двоих – сухой унавоженной земли. Ему осталось только сбить крест из обломанных досок.

И теперь один из гробов ждал офицера.

Могила была готова. Она получилась глубокой и ровной. В чреве её разбухала тень – солнце сдвинулось с мёртвой точки, начало медленно плыть к однообразному горизонту. Ровность могилы казалась неестественной среди бугров глиняно-рыжей земли. Закончив работу, они какое-то время стояли вокруг – все, даже раненые. Смотрели на итог своих трудов со смешанным чувством восторга и боли. Могила казалась столь ровной, что каждый поневоле думал: неплохо бы оказаться в такой – в своё время.

Они принесли офицера. Тело было сухим, как ветошь. Он словно похудел ещё сильнее с момента смерти – кости просту-

пили так ясно, что казалось, мёртвая кожа вот-вот прорвётся, точно бумага. Несли тело бережно, словно боясь причинить последнюю боль. Так же бережно его положили в гроб.

Из-за открытого рта лицо офицера казалось застывшим в молчаливом крике. Кто-то догадался перевязать его голову бинтами, сжав мёртвые челюсти. От этого он стал похож на человека, умершего от зубной боли. Красный мундир с посеребрёнными пуговицами казался на худом теле до жалости скомканным, грязным. Они положили на закрытые глаза по медной монете. От вида торчащих восковеющих ладоней сжималось сердце.

Теперь он вновь был так не похож на них, будто смерть вернула ему черты, но теперь высушенные, резкие – выпирающими скулами, выпирающими костями...

...Они восхищались им. Он был литым. От него дышало жизнью и силой. Прямая спина, идеальная выправка. Полуулыбка, блеск пуговиц. Он говорил громко, глядел пронзительно, как пантера. Он вёл их вперед – и они чувствовали себя щенками за его могучей спиной. Рыжий в подпалинах жеребец играл под ним, ржал утробно и звучно, как боевой рог...

Крышку гроба прибивали коваными гвоздями, собранными в обломках. Тут кто-то вспомнил, что молоток нашёл пропавший часовой. Они сурово уставились на гладкую деревянную ручку. Кто-то помянул часового без пальца на правой руке бранным словом. Они попытались искать другой, но в развалинах были лишь камень, солома да доски. И всё-таки любовь к офицеру пересилила ненависть к солдату, бросившему свой пост. К тому же гробы сколачивал тоже он. Но всё же гвозди они вбивали с усилием, будто стараясь расколоть и молоток, и гвозди, и сам гроб, и только память о беззащитном теле внутри сдерживала удары.

Гроб опускали на ремнях – медленно, бережно. С глухим стуком он лёг на ровное дно. Старые доски сливались с землёй, будто растворяясь в ней.

Никто не произнёс молитвы. Они просто сгрудились вокруг, склонив непокрытые лбы, и смотрели, как земля словно всасывает гроб с останками человека, которым они восхищались. Он был их офицером. Горечь вины прожигала их даже там, где нечему было гореть.

...Он хлестал их наотмашь. Когда он сумел их остановить, лицо у него сделалось красным, рот – искривлённым. Рыжий в подпалинах жеребец ржал как обезумевший. А он, офицер, не сдерживая ярости, хлестал их, безмолвных, ошалевших от страха, плетью – по плечам, по лицам, по безвольно опущенным рукам. И ярость его становилась всё сильнее от того, как они смотрели на него – снизу вверх, округлыми коровьими глазами. Они не сопротивлялись, не старались укрыться. А он всё хлестал и хлестал, но отчего-то рука была неверна, и плеть чаще ожигала лишь воздух.

– Вы – бабы! – кричал он, заглушая вой и грохот. – Я думал, вы – бабы! А вы хуже баб!

Но тут земля за его спиной рванулась вверх, обдав комьями, пылью, дымом. Конь встал на дыбы, и офицер вывалился из седла, как мешок, и не пытаясь смягчить падения. Все они разом кинулись к нему, но офицер лежал лицом вниз, спина и затылок его были в крови.

В сознание он больше не приходил – до последнего часа, когда редкий ночной дождь не заставил его открыть глаза и умереть.

Они несли его на руках, бережно, как ребёнка. Вливали воду, последнюю, что у них была, в синеющие губы. Но офицер не жил и не умирал. Раны его засохли, но жизнь как

осколок застряла в теле, мучая и не желая выходить. Так было всю дорогу, пока они не наткнулись на этот дом – пустой, неуместный тут, в безжизненных землях...

Кто-то кинул в пропасть могилы горсть красноватой земли – она сыпуче упала на доски. Ещё один кинул горсть. И ещё один. Кто-то взялся за лопату, и сухая земля полетела вниз сильно и быстро.

Скоро могила была засыпана. Её увенчал крест – большой и ровный, с офицерской выправкой стоящий среди развалин.

Солнце клонилось к закату. Тени стали удлиняться; небо – терять остроту синевы. Они были рады любой работе, даже такой. Но эта работа лишила их сил. Их мучила жажда. Кто-то разжёл костёр – утренний, не тот, что оставил часовой – пламя потекло по доскам. Из мешков достали последние жестяные банки. В котелок налили холодной, как смерть, воды.

Вода была на исходе, когда они подходили к дому. Здесь они сразу нашли колодец, обложенный кольцом выбеленных камней. Но из колодца до рвоты несло тухлятиной, (кто-то предположил: на дне лежит труп). Однако солдат без пальца на правой руке отвёл их внутрь дома, в остатки какой-то комнаты, возможно кухни, и там, под кусками мебели и осколками посуды, они нашли прикрытую щитом дыру – ещё один узкий колодец. Теперь воды было вдоволь, они могли пить её, не жалея, но отчего-то лишь смачивали горло, едва сбивая вечную сухость. Хотя они пили кофе – горячий и чёрный, как смоль, горячее здешней земли и воздуха. Но сейчас они заварили последнюю его щепоть, и кофе уже не пах домом. Железные кружки обжигали пальцы. Подогретые в банках бобы жевались без вкуса, глотались с болью. Это была последняя их еда.

Ночь прибывала неспешно. Они вновь разбрелись, старались занять себя делом, ожидая, пока тьма не прогонит всё вокруг, оставив лишь острые иглы звёзд на небе. Время от времени они вздрагивали, когда адский грохот прорывался сквозь броню неверия – черта боя, которая всё преследовала их, не ослабевая, как бы далеко они не ушли. Жара не спадала, но темнота странным образом делала её терпимей. Костёр горел, давая миру другие формы, другие тени. И чем сильнее сгущалась ночь, тем сильнее он разгорался, сильнее бросал свой свет, распускаясь, как дрожащий венозно-красный цветок.

– Глядите, – тихо сказал кто-то. – Глядите, часовой...

И они увидели – там, у старого выгоревшего костра, на уцелевшем белом куске стены дрожала его тень.

Скрип его ремней, запах его пота...

– Завтра мы уйдём отсюда, – заверил кто-то усталым голосом.

– Возможно, мы найдём ещё один дом, – сказал кто-то другой, такой же человек без черт, измученно, тихо. – У каждого будет свой дом.

И они разбрелись, засыпая на ходу, еле переставляя слабые ноги. Они углубились в разрушенный дом, к обшарпанным стенам, к кускам кирпича, обломкам деревянной мебели. Находили свои лежанки из старых столов, порванных матрасов, прожжённых циновок. Громко сопя, ложились и накрывались кусками тряпья, даже в эту жару – все шестнадцать человек в грязной тёмно-зелёной форме. Наступала ночь, гремящая чертой брошенного ими боя, глядящая сверху пропастью звёздного неба. Теперь не нужно было притворяться, занимаясь фальшивыми делами. Теперь можно убивать тягучее время мучительным странным сном.

Этой ночью они не ставили часового.

Огонь всё горел, бросая свет дальше и дальше, закручивая ночь в большую режущую спираль, раздирая мир на владения огня и владения ночи. А на белом, уцелевшем куске стены лежала одинокая дрожащая тень человека без пальца на правой руке – дезертира среди дезертиров, единственного, кто вернулся к родному порогу.



## СЫРНАЯ ЛУНА

**Д**авным-давно, в детстве, мне снилось, будто Луна – огромная головка сыра. Вот плывёт она в холодном ночном тумане, облитая янтарным светом, а внизу – уставшая за день Земля. Спят дома, одевшись в серое, люди вкушают сладкие сны, и лишь псы, верные псы, сторожат вселенский покой, щупая мир заунывным лаем. Ночной ветер гладит траву, в деревьях шепчет какую-то тайну. А она всё плывёт, та Луна, в тумане, пахнущем грибами, то появляясь, то исчезая. Так низко плывёт – кажется, если встать на печную трубу, можно пальцами коснуться, почувствовать на ладони горячую мякоть; коснуться дыр в сырном теле, издали так похожих на кратеры. А ветер шумит. Ветер гуляет. Колдун ночной – задумчивый ветер. Облака сдувает, как с молока парную пенку. А там – дерево небес. Огромное, прозрачное, сияющее своими плодами. Миллионы их – хрустальных и маленьких. Звенят – лишь во снах слышен тот звон – далёкие колокольчики. А ветер гнёт невидимые ветви. И вот срываются, срываются яблоки звёзд – падают-слепнут в августовскую траву... Луна. Полёт её – вечность, недостижимая, необъятная...

Часто вспоминаю её, ту Сырную Луну – большую, безмолвную, близкую и такую далёкую, до боли далёкую. И кажется мне, мир – маленькое зёрнышко, которое только созревает в чьих-то больших тёплых руках...

Уж не черствеет ли мы, не отмирает ли наше сердце, когда перестаём мы удивляться миру вокруг себя?

Верю: она ещё есть, та Луна, в бесконечном своём полёте. Лишь надо содрать с сердца огрубевшую корку. И спать. Безмятежным сном, в котором приходит на душу радость.

\* \* \*

Яблоки звёзд так сладки, что не у всех хватает сердца, не у всех хватает радости на душе попробовать их на вкус.





## ЖЕЛЕЗНЫЕ НОГИ

Георг ворочался с боку на бок, пытаясь уснуть, да какой там: как ни ляжешь, перед глазами провал окна, разбитый на бледные квадраты. Дождь бил в стекло, ветер давил, точно раму хотел затолкнуть глубже в комнату.

Георг вдруг понял: кто-то стучит в ворота. Звук мешался с дождём, ветром и громом, долетая до слуха так изменившись, что природу его трудно было определить. Но теперь всё становилось им: и ветер, и дождь, и даже скрип кровати превращались в «тот-тот... тот-тот...» – тихое, но отовсюду.

Мать проснётся, подумал Георг, из-за болезни сон её хрупкий... И никто не гремит каблуками по коридору. Спят, что ли, все? Или всем наплевать?

Он поёжился, представив холод по ту сторону одеяла. Собравшись с духом, встал, переминаясь и дрожа, натянул на себя одежду, обулся. Ударившись бедром о край стола, нащупал-таки фонарь и, изрядно повозившись, сумел его зажечь. Обстановка комнаты выскользнула из темноты. Георг зажмурился. Привыкнув к свету, надел непромокаемый плащ... Георг надеялся, что стук вот-вот прекратится и можно будет вернуться в постель, но тот не прекращался, лишь делался тише, будто темнота – лучший его проводник.

Оказавшись в коридоре, Георг почувствовал перемену. Здесь было тихо. Подошвы кожаных сапог гукали по красным половикам. Тени убегали, точно диковинные чёрные

кошки. Георг удивился, как долго он идёт – будто коридор удлиняется... Запахло лекарствами – по левую руку дверь в спальню матери. Тонкий запах казался каким-то странным (хотя он часто его ощущал), но вот сейчас – ночное открытие – лекарства не пахнут травами, смолами, мёдом, по крайней мере, эти. Хотелось зажать нос. Запах пропал, а ощущение не отступало, рука так и тянулась к лицу. В круг фонарного света попала лестница; ступеньки вели на первый этаж. Георг замер... *Тишина...* Никто не храпел, не слышно, чтоб скрипели кровати или кто-то вставал выпить глоток воды... И мать, стало быть, не проснулась. У неё тяжёлое дыхание, когда спит. А когда не спит – стонет. *В комнатах никого нет*, решил Георг. Он знал, что это ерунда, просто смятение, которое нападает иногда без причины. Не могли же они исчезнуть?.. Но тревога не отступала. Хотелось броситься назад, ворваться в спальни, топтать, будить – лишь бы не спали так тихо. Он представил: *они испугаются...* И почувствовал стыд. *Нет, не поймут. Будут сопеть, хлопать глазами. Что ни скажешь – не поймут.* Георг знал, что это ерунда; отец выслушает и брат... Но, может быть... И это «может» всё убивало. Они – другие люди. Попробуй признаться им, что боишься спуститься вниз, к стуку в ворота... *Нет, лучше прятать боли и страхи, отягощаться, мучиться, страдать и гибнуть, но молчать.*

И какая-то уверенность – уверенность сжатых зубов – сменила враз все мысли и чувства. Георг спустился по ступеням и тут же упёрся в дверь, точно она была прямо у лестницы. Толкнул. Испуганно скрипнули петли. И звук утонул в дожде...

Стук в ворота – его не было.

*Почудилось... Как можно было услышать? Ворота – вон где... Воображение...*

Георг почувствовал, что не может вернуться в спальню. Знал: каждый шаг дастся необычайно тяжело, в невидимую стену придётся упереться и толкать её. Вся жизнь – путь назад.

Но стук повторился.

Георг вздрогнул.

Звук был отчётливым, ясным. До слуха долетали и обрывки слов – едва различимые.

Окунувшись в дождь, он побежал к воротам. Ветер гудел в капюшоне. Под ногами чавкала грязь. Пахло влагой – в горле от неё горчило. Холодно не было – обвыкся, но всё дрожал, точно надеясь, что кто-то смотрит на него из окна. Вот и ворота, огромные, как Геркулесовы столбы: железо ржавое, древесина сырая и серая. Георг расслышал слова. Человек кричал, чтоб его впустили, «если есть тут хоть кто-то с ушами, не заплывшими серой». Голос срывался на хрип.

Георг бросил фонарь, схватился за бревно, запирающее ворота. Напрягся, стараясь вытащить его из скоб. Плащ на груди расплзся, кожи – через рубаху – коснулась холодная древесина. Георг застонал, вставая на цыпочки. Бревно поднялось на край скобы и ухнуло вниз, выбив фонтан грязи. Мышцы дёрнуло болью.

Ворота распахнулись, насколько позволило бревно, и, хлюпая сапогами по лужам, вошёл высокий, широкоплечий мужчина. Под уздцы он вёл коня с железными ногами.

Георг выпрямился, но человек уже был спиной к нему. Георг лишь вспомнил – или это ему показалось? – мощный подбородок и высокий лоб, облепленный сырыми волосами. Он нагнулся за фонарём, а когда поднял его, конь уже был в стойле, а человек – на верхней ступени крыльца.

Будто почувствовав взгляд, гость обернулся.

– Чего стоишь? – Услышал Георг. – Запирай ворота! А я пока хлебну чего-нибудь и поищу местечко ноги закинуть!

Георг сжал зубы. Ему хотелось ответить, но он понимал: человек устал, не видит, кто перед ним.

Крыльцо опустело. Хлопнула дверь.

Рассеянно махая фонарём, Георг поплёлся назад. Дождь стал утихать. В створку ворот дуло, как в трубу. Он чувствовал усталость и обиду. Обиду на эту ночь, на этот дождь, на всё... Хотелось побыть здесь ещё немного, но это было глупо, а значит, невозможно.

Георг оказался у стойла. Всех лошадей с вечера загнали в денники, и кроме коня с железными ногами тут было пусто. Конь поражал своим ростом. От него шёл пар, словно под кожей печь вместо плоти. Чёрная шерсть лоснилась, как шёлк – так и хотелось коснуться, проверить, гладкая ли она. И, несмотря на пар, казалась холодной, как тьма на дне колодца. Конь жевал овёс из старой кормушки, фыркал, топал ногой, выказывая недовольство присутствием чужака, и недовольство было столь весомым, что находиться рядом было не по себе... Но Георг не мог оторваться от созерцания эбонитово-чёрной шкуры. И ног. Эти стальные нити, железные штыри, сочленения из серебра, медные пластинки манили, ловили взгляд, удерживали на себе блеском, тонкостью работы. Копыта были замазаны грязью, но выше и до самого крупы ноги сияли сабельной сталью, и лишь сверху, там, где металлы переходили в черноту шкуры, темнели – так незаметно, что определить, где кончается одно и начинается другое, было невозможно.

Конь не рассёдлан. Сбруя тонкая. Седло красное, как вишнёвая мякоть, прошитое золотым узором – какими-то листьями. Поводья привязаны к столбу, державшему крышу навеса. У Георга мелькнула мысль: как же он ест с уздой

в зубах? Но мысль тут же пропала... Желанье коснуться... Хотелось сделать это тайком, как нечто преступное. Он вытянул руку и стал приближать её медленно, точно любой шорох мог поднять на уши весь двор. Конь ещё фыркал, но тише.

Пальцы коснулись шкуры. Конь вздрогнул. Георг отпрянул. Конь вытянул шею, наострил уши. Пар струями вырывался из ноздрей. Конь был похож на гончую, услышавшую рог, секунда – сорвётся с места. Все мышцы напряжены: не конь – живая мощь.

Сердце у Георга билось под горлом. Он пытался вспомнить и не мог: что же ощутили пальцы?

Он подумал это, закрывая глаза, а когда открыл, обнаружил себя в седле – на спине коня с железными ногами.

\* \* \*

Стук копыт – бой сердца. Скорость и ветер. Скорость и ветер. Рвут. Кусают. Жалят. Рёбра болят, сердце вот-вот взорвётся. Радость и боль, блаженство, безумие – всё в одну кучу. Внизу верхушки сосен, овраги, крыши домов. Конь мчится по воздуху. Ночь светла, тонкие иглы повсюду, горящие розовым блеском. А впереди – горизонт, как огромная рана; тянет к себе реки, горы, дома и деревья – всё удлинится. Капли дождя застыли. Рвёшь воздух, первым увидеть – что там. Раньше солнца, раньше луны. Если пропасть – упасть и гореть в полёте... Копыта высекают искры из воздуха. Будто сам мчишься. А под ногами нить. Ступить – смерть. Бежать – безумие. Во весь опор по ней! Но хочется больше. Больше!.. Остановиться уже невозможно. Острее чувства. Быстрее скачка. Яростней вихрь... Громче! Острее! Громче!.. До боли! До крови!

До безумия!.. Краснота – как солнце за закрытыми веками. Учащается! Нарастает! Мышцы вот-вот порвутся, вены лопнут. И хорошо! Прекрасно!.. Гром копыт. Сердце бьётся – один монотонный гул. А кажется: целая вечность промеж ударов, люди рождаются и умирают. Внизу. На Земле. В убогой реальности... Быстрее!.. Громче!.. Острее!.. Зубы стиснуты. Но крепче! Чтоб вспыхнуло! Рухнуло! Сгнило! Чтоб Земля треснула, как арбуз, распалась на части!.. Центр её видеть и быть им, чувствовать страх и радость... Чтоб!.. *Чтоб!*.. Быстрее! Громче! Острее!.. Нет тела, нет мыслей – одни ощущения. И мало! Хочется больше! *Больше!*.. Нервы опутали мир, каждый атом. Но мало! Мало!.. *Быстрее! Громче! Острее!*.. *Быстрее!*.. *Громче!*..

\* \* \*

Утро.

Георг цеплялся за пластмассовую на ощупь гриву. Пальцы не гнулись. Все мышцы – литой свинец, того и гляди порвут кожу. А голова – тыква. Пустая тыква. Секунду назад о чём-то думал. О том, как было... А что? – слов не подобрать, ничего подобного Георг не испытывал раньше. Всё остальное по сравнению с этим мелко, низко, как сливная яма перед букетом роз. Стоит жить ради этого – чтоб ещё раз почувствовать, хоть на мгновенье. И ночь была мгновеньем и вечностью, но – кончилась...

Клонило в сон. Шаг коня вырывал из дрёмы. Георг только видел: лука седла, чёрная конская шея... дорога, замок... распахнутые настежь ворота... красные кольца черепичных крыш... Всё ближе... Люди. Много людей во дворе – кучей стоят, спиной к Георгу.

Георг почувствовал, что должен слезть, как пёс, который не слышит приказа, но уже знает, что делать. Это был его дом, его замок, но будь он проклят – мешает спать, лезет в глаза фонарями и корками грязи... Георг спустился на землю медленно: при каждом движении боль впивалась в мышцы. Подвёл коня к стойлу, а сам как кукла: руки чужие, тело чужое. Лошади у стойла заржали, стали жаться друг к другу. Георг привязал поводья. Конь опустил морду в кормушку, переминаясь на железных ногах.

Георг уже чувствовал себя в постели, спящим мертвецким сном, но шёл к людям. Кто-то поворачивался, сжимал ему плечо, что-то говорил – Георг не мог разобрать.

Он оказался в самой гуще. По левую руку стоял отец. Георг отметил, как худ отец в своём чёрном мундире. На лице выраженье мужества, морщины точно бритвенные порезы – старые, но готовые вновь открыться. Август, брат, взял Георга за правую руку и крепко сжал. Челюсти Августа были напряжены. Он шмыгал носом, моргал, будто от ветра у него слезились глаза.

Всё казалось до убожества странным – брат, отец, эти люди. Деревянный ящик на трёх стульях... И мать в нём... Одетая – голубое платье с вышитой белой розой на груди. Лицо жёлтое. Лежит с закрытыми глазами. Молчит – ни сто-на, ни болезненного дыхания.

Разочарованье горчило. Георг собирался уйти, но упёрся в отца. Отца трясло, губы дрожали – ладони подняты, чтоб это скрыть. Кожа на руках была дряблой, а шея похожа на засохшую куриную ногу.

*Мать умерла, понял Георг. Мать умерла... Жаль, ночь кончилась. Что за ночь!*

Никто не сопровождал Георга до спальни, хотя ему казалось: вот-вот – и кто-то догонит, будет хлопать по плечу,

что-то говорить... Он всё твердил: *мать умерла* – как стишок, который нужно заучить. Но это не рождало в нём ничего, кроме раздражения.

В глазах двоилось. Но вот дверь, за ней кровать. Раздеваться нет сил. И перед тем как лечь, Георг успел подумать: теперь-то он увидит мать во сне – такой, какой она была прежде, до болезни, когда гладила его по голове и целовала в лоб перед сном.

Но, коснувшись подушек, Георг провалился в глубокий сон без сновидений.

\* \* \*

Пробуждение было тяжёлым. Георг не сразу понял, где он. Комнату затопил тёмно-розовый свет, от мебели падали длинные тени. Георг удивился, обнаружив, что лежит поверх одеяла, да ещё в одежде и сапогах – ступни от них горели. Голова была пустой, как треснувший горшок. Он сел, свесив ноги – комната колыхнулась в такт движения. Хотелось пить. Он провёл языком по губам – шершавые, горячие. Посмотрел на стол: графин пуст, на стекле застывшие блики. Встать казалось пыткой.

На улице что-то загремело. Залаял Том, старый цепной пёс. Звонкий удар – и лай прекратился.

Георг вытянул шею, будто, не вставая, мог увидеть что-то в окне. Он вспомнил двор, людей... Отца, брата и... *Конь в стойле!* На лбу выступил пот. *Как можно было оставить?!* Спрятать нужно было, чтоб ни одна душа не видела! Вскочил. Голова закружилась – схватился за свисающий балдахин. Подойти к окну сделалось страшно. *А вдруг... Увели?* Всё казалось уже решённым. Дышал Георг сдавленно. Уголки губ поползли вниз. *Я должен рассказать,* решил он.



*Отец – он может что-то сделать... О коне с железными ногами... И боли, что приходит потом... Должен знать! Все должны знать. Может, есть лекарства ... И тут же сжал кулаки: Нет! Запретит, промеж встанет. Всегда был таким – видит проблему и рубит. А это смерть, здесь так нельзя. Здесь... И остальные – такие же! Вдруг Георг понял: он и увёл! Специально, чтоб больнее сделать! А сам – вместо меня!.. От одного воспоминания о чувствах, что испытывал прошлой ночью, по телу пробежала лёгкая дрожь. Он хотел этого, хотел снова – больше жизни.*

Солнце закатилось за крыши. В комнате сделалось мрачно, тьма натекла в углы.

Георг направился к выходу. Стойла хотелось увидеть как можно быстрее, вживую – стекло искажает, врёт (*в этом замке всё может врать!*), но ноги точно из ткани – подгибались... По дороге он думал, и мысли находили пенными шквалами. Он думал об отце, о том, что скажет... Слова – одно другого злее, но все казались лёгкими. Он стал придумывать, какую подлость сделать отцу за этот удар, за это скотство, но на ум ничего не приходило, равное его, отцовской, подлости... Георг вспомнил: *мать умерла*. С облегчением: *да, она не с ними, не в сговоре*. А тут все – даже слуги, даже собаки – марионетки в отцовых руках. *Лишить коня...* И всюду ловушки – зеркала в чёрной занавеси, старинные свечи, а где-то тут, должно быть, нити, чтоб он упал, сломал себе рёбра и никогда не добрался до коня с железными ногами... Теперь-то они не получают её в союзники!.. Так-то! Рыдайте!

Георг знал, попадись кто на пути – кинется с кулаками, будет рвать, душить, кусать... пусть пальцы не гнутся и боль в каждой мышце... Он думал – и это жгло сильнее всего: может, человек, приведший коня, и забрал его?

Его ведь право... Георг вспомнил, вернее придумал, что вспомнил – будто спрашивал он у слуг: где тот человек, что ночью прибыл? А они льстивыми голосами: «Не знаем, не видели!» И вспомнил – уж действительно вспомнил – людей у гроба матери и то, что этого человека там не было – он бы его приметил: на голову выше всех, даже выше, чем Август.

И вспомнил Георг о той ночи – пальцы стало покалывать. Он твердил: *ну и что – боль? Я сильный. Попробую разок – и баста. Один раз – не помру же... А плохо будет – прекращу... Последний раз...*

Подожвы сапог заскользили по мокрому полу – Георг буквально вывалился во двор. Сумрак лежал на земле. Небо ясное. Луна всходила на нём острым серпом, как обрезок ногтя.

Георг помчался к стойлу, хотя уже видел – конь там, один.

Конь стоял, наострив уши, вытянув шею. Хвост бил по бокам плетью из чёрных нитей. Конь заржал низко, властно. Не зная, что делать, Георг ладонью вытер сухой лоб... *Чёрная шкура!.. Хотелось коснуться, вскочить в седло – как в прошлый раз, даже больше, ведь теперь знал, что будет...* И тем не менее, где-то внутри звенело: эта жажда казалась чересчур сильной, искусственной. А он не мог подавить в себе этот звон, который нудил, как муха в чашке. Жилка осторожности проснулась, стонала, прося вниманья.

Георг перевёл взгляд на поводья – ещё привязаны. Осмотрел золотой узор. Коснулся узды... И тут же мышцы налились силой. Боль исчезла.

Всё было решено.

Мгновенно.

В седле.

Галопом по небу, разгоняя сонные облака. Ночь сгущается. Георг щёлкнул пальцами – стало светло. Пульс мира трепетал в ладонях. Он мог делать с ним всё, что хочет. Ход времени мог изменить, ночь превратить в день, оживить скалы. Он чувствовал это, и сердце билось в груди. Вот озеро – проскакал по нему как по тверди, лишь круги разошлись, точно жемчуг рассыпали. Он мчался по верхушкам сосен – деревья шумели, громко дыша. В небо взмыла сова. Георг приказал – та застыла в полёте, расправив крылья. Он мчался по скалам – камень гудел, ледники начали таять... И на гребне одинокого мыса Георг зажигал звёзды. Поднимал руки, а там, где пальцы касались неба, вспыхивали маленькие огоньки, согревая кожу... Наскучило – конь топнул стальной ногой. По земле пробежали трещины. С гор сошли лавины, лезвиями сбывая деревья и красные домики... В висках – огонь. А ощущение власти! Сердце от него заходится, дышать тяжело – не хватает лёгких ... *И мало!*.. Зажигать звёзды? Дёшево!.. Он стал срывать их, бросать вниз. В полёте они оставляли огненные шлейфы; касаясь земли, взрывались. Пахло хвоей и дымом. Поднялся густой туман, но Георг разогнал его, любясь рыжими языками пламени. И ощущал – огонь был внутри него, и сам он был огнём: полыхал, терзал, подминал под себя и ликовал! Сосны-идолы падали ниц перед ним, властелином мира! Одну из звёзд он сунул в карман, стёр рукавом тьму с неба – та осыпалась чешуёй, обнажив первозданную белизну. Помчался, ощущая скорость, пенье ветра... Кровь кипела в жилах. Но хотелось большего! *Большого!* И не был он уже тем Георгом, юношей с узким лицом, тусклым взглядом – он был властелином – выше

гор, выше неба, яростный и всеильный!.. И жаждущий большего!.. Он приказал – земля разверзлась, из трещины брызнула лава. Он приказал – море вспенилось, киты всплыли кверху брюхом. Он приказал – всё взвыло. Он приказал – тишина наступила необъятная, бездонная... Он мог всё. *Он хотел всё!* От желаний искрило в глазах. От эмоций жгло, в каждой клетке жгло. Он хотел – и мир разлетался на части – каждый обломок был крошечным, ярким... Время пропало. И Георг распадался на части, на прах и пепел, на клетки, вопящие от блаженства...

Но... Всё исчезло.

Георг понял, что сидит в седле. Конь идёт по земле. Он, Георг, вновь превратился в юношу с дряблыми мышцами... Силы пропали. Боль – адская боль – схватила тело, стала разжёвывать, добираясь до костного мозга. Спазмы батонами ходили по телу, а сердце точно забилося в клетку из бритвенных лезвий. Каким-то чудом он мог видеть лимонного цвета небо, контуры деревьев, дорогу, кусты, а впереди – замок.

И запах...

Запах лекарств – тот самый, что был у спальни матери – лез в нос, чем-то тяжёлым скапливаясь в затылке. *Так пахнет конь*, понял он, *вся шкура этим пропитана...*

А замок – всё ближе; вот и ворота, раскрытые наполовину, чтоб только конь мог пройти... *Всё кончено*, понял Георг. Его охватила злость, и через боль он принялся колотить ногами по зеркально-чёрным бокам; звук – будто по стальному листу. Конь шёл размеренно, не ощущая. Георг застонал: «*Ну ещё... Ещё хоть чуть-чуть!..*» – удушенным голосом, всхлипывая... По горячим щекам, разводами – слёзы.

Они оказались в воротах. Георг попытался схватиться за створку, но рук не поднять. Он хотел выть, но только рот

разевал. Он знал: всё пройдёт, лишь назад повернуть... Ну почему? Почему сейчас?!

Копыта били по мёрзлой земле. Уже у стойла Георг почувствовал, что выскальзывает из седла.

Он упал на спину, сбив дыхание. Кровь с остервенением шумела в висках. *Конец, думал он, никогда не встану. Кости переломаны... А они будут издеваться!.. Медленно добивать, по чуть-чуть. А я буду дышать, хлюпать, но жить – назло!..* Он лежал, глотал горькую слюну, и казалось ему – это он кровь глотает. Сколько лежал – понять не мог. Светало. Весь двор точно вычерчен яркой линией, солнечный свет ещё рыжий – телеги, сарай, домики слуг от него будто мокрые... *Ещё одна попытка, думал он, медлят, ждут...* Стал прислушиваться, ведь они где-то рядом, прячутся. Сдерживаются от смеха. А отец сидит, должно быть, в своём кабинете, за ниточки дёргает. Чай пьёт и смеётся. *Надо мной – как умираю, дышать не могу...*

Наконец, он решил пошевелиться. Поднял руку – под кожу будто загнали прут. Зажмурился, попытался сесть. Но тут кто-то схватил его, начал тянуть. Георг распахнул глаза. И увидел Августа, его орлиный нос, впалые глаза, красные, как от бессонницы. *(Это от паскудства, от грязи, которая в нём!)*

Георг чувствовал, что его отрывают от земли, ставят на ноги. Лицо Августа маячило перед глазами. Губы – тонкие губы – размежевались и через гул:

– Георг, знаю, плохо... Мать, отец... Мужайся... Отец... Не пережил... На наших плечах... Нужно вместе...

Георг не хотел слушать. Он дёргался, стараясь вырваться, но Август вёл к крыльцу, крепко держа за плечи.

В самых дверях Георг сумел, наконец, выскользнуть и наугад ударил кулаком.

Костяшек что-то коснулось.

На слабых ногах Георг поплёлся к лестнице. Он брызгал слюной, выл. Кричал, что если встанут на пути – убьёт; попытаются коня отнять – порежет... Слова вылетали сами собой и в то же время с усилием, будто гнойник давил. Щёки болели. Слова становились всё бессвязней. В глазах темнело, точно их прикрывали тряпкой – и он видел то толстый язык перил, то узоры половиков, то Августа – внизу, в дверях, прячущего лицо в ладонях... Георг будто падал куда-то, сердце переставало биться... И вдруг ощутил: душит кого-то, но разглядел – лишь одеяло, а сам лежит в кровати и мнёт пальцами белую наволочку. Такая злость пронзила, что это не чья-то шея – оцепененье сковало.

И тут же – чернота.

\* \* \*

Воздуха не хватало. Одежда врезалась в кожу. Он ворочался, но никак не мог проснуться. Руки затекли, стали холодными. В горле что-то хрипело, но кашель так и лежал на дне глотки, не в силах вырваться наружу. Нос был заложен, а воздух, вскипая от жара, пробивался к вялым от слабости лёгким, почти дымя, почти сжигая. Всё ощущал Георг, словно не было сна, словно паралич змеиными кольцами сдавил тело, едкой грязью заляпал глаза. Точно надвое раскололся, и одна его часть в бессилии лежала в постели, а другая видела сны, что путались, слипались, превращались в песок. Он видел какие-то руки с огромными красными пальцами, стальные трубы, углы и нечто сокращающееся и большое, точно грузное, обветренное до коричневой корки, сердце. Он проваливался всё глубже... Осколки фонаря отрастили лапки, пустились в пляс по коже, жая острыми

гранями. Звезда падала с неба с истошным человеческим криком. И снилось: изо рта текла кровь, он сглатывал её, но ощущал себя всё хуже. Во рту привкус металла и соли. Кажется, вытечет вся до капли, будто упырь целовал его в губы и жадно пил алую жидкость. Он чувствовал: будет продолжаться вечно этот кошмар; а может, не кошмар, может, умер во сне, на кровати мёртвое тело, а это затухающие импульсы мозга...

И вот, наконец, он очутился в маленькой лодочке у низкой пристани. Лодочка отплывает, отправляясь на волю потока. Течение подхватывает её... Но тут видит: никакой это не поток, а тысячи акульих скошенных плавников. А на берегу – мать, отец, Август – тянут руки к нему. В глазах их боль и скорбь – за него, Георга. И хотя стоят неподвижно, кажется, пытаются достать, притянуть лодку к себе.

В груди у Георга всё сжалось в орех. Он рыдал. Рыдал от того, что спасти его хотят – всегда хотели – а он не верил и проклинал их за это желание... Хотел крикнуть, что любит – огромный валун перекрыл дыхание. Хотел помочь, бросить канат, но шевелиться не мог; берег всё удалялся и исчезал, будто в тумане. Лодку несло быстрее по скользким акульим хребтам. Мать, отец, брат расплывались, но Георг видел их глаза. И чем дальше отдалялся берег, тем отчётливей видел.

Лодка ударилась обо что-то, затрещала, завывла как щенок. Георг проснулся, открыл глаза, но всё вокруг казалось продолжением сна. Голова болела. На щеках остались разводы от слёз. Плач ещё теплился где-то там, внутри, – плач ребёнка, отмывающий все грехи; но всё слабее, затухающим огоньком под самым сердцем. А вокруг тело, эмоции, мысли – одно большое бессмысленное *ничто*. Равнодушие, тупость и холод.

Георг встал. Его шатало. Приходилось держаться – за грядущку кровати, спинки стульев, дверной проём. Ноги прикипали к полу – не оторвать.

Георг шёл вниз, к коню с железными ногами – с тупой обречённостью. Просто знал, что должен. Лишь бы не было этой боли. Лишь бы не выкручивало, не ломало... Понимал: так будет всегда. Только ослабит боль, но после – она станет ещё сильнее. Замкнутый круг; не круг даже, спираль – всё сужается и сужается, пока, наконец, не сойдётся в точку, имя которой – Смерть... Желание коснуться чёрной шкуры – оно ещё было в нём, но тупее; не желание вовсе, необходимость – иначе тоже Смерть, миг умирания, растянутый на вечность.

Жутко пахло потом. И лекарствами. Теми самыми, в которых нет ничего от природы. Теперь сам он ими пахнет. Въелись в одежду, волосы, кожу. Их не отмыть.

Георг останавливался передохнуть. Два дня он не ел и не пил – казалось, внутренности вырезали ножом, насовав туда стекольного крошева. Оплывшие свечи на лестнице потушены, фитили торчали скрученными волосами. А темнота вечерняя была уже здесь. Георг видел: стены голые – ни гобеленов, ни картин. Половиков тоже нет, половицы скрипят под ногами, как снег. И тишина. Мёртвая. Собственное дыханье казалось ветром, что гулял по пустым комнатам, выдувая запах бывшей тут жизни. Удары сердца громыхали железными сапогами.

Уже на первом этаже Георг вспомнил: вон там, на приступке, сидел его брат, прикрывая руками разбитое лицо... Захотелось рыдать, но только кашель какой-то вышел... Помочь хотели, а он их... И ни матери теперь, ни отца...

А выходя на двор, встрепенулся: Август жив, и ему Георг должен всё рассказать! Вместе что-то да сделают...



*Но потом – сначала боль заглушить!*

Облака загородили небо, скребли гранитным брюхом о крыши домов: ни звёзд, ни луны, ни уходящего за горизонт солнца. Глядя на небо, Георг вспомнил, как зажигал звёзды... а затем... Георг запустил руку в карман. Что-то больно кольнуло палец. Игла. Он поднёс её к глазам: тонкое стальное жало от шприца, на кончике кровь. Запах чёртовых лекарств ударил в ноздри.

Георг швырнул её в наползающий сумрак.

Доплёлся до стойла. Взгляд не отрывал от чёрной земли, в которую ноги будто проваливались как в зыбь. Знал: конь там – стоит, вытянув шею, вонзая очи во тьму. Ждёт. Ждёт Георга, и в этом ожидании что-то властное. Георг коснулся чёрной шкуры. Боль стала ослабевать... ослабевать, да и только – ни блаженства, ни эйфории.

Уцепившись за седло, Георг долго ловил ногой стремя и, попав, с трудом влез на конскую спину. Конь медленным шагом двинулся к воротам, которые, заскрипев, отворились сами собой.

Георг закрывал глаза, вжимаясь в чёрную шкуру. Боль становилась слабее. Но не исчезла. Мышцы всё ныли. В голове гремело эхо стальных копыт. Но после всего, что было, даже это казалось раем... Но как медленно!.. Георг ударил сапогами в блестящие бока. Конь не прибавил шагу. Георг понял: понукать бессмысленно – блаженства не будет... Никогда... Но и так – хорошо...

Он видел ряды сосен, за ними чёрную стену, точно всё, кроме сосен, стёрто из памяти мира. Было тихо. И страшно не слышать лесного шума: стоны деревьев, голосов птиц. Георг закрывал глаза, погружаясь в дрему – сладкую, как сахар. Но нечто заставляло вздрагивать, просыпаться.

Этот лес представлялся каким-то искусственным, вылепленным из чего-то похожего на жизнь, но, по сути, – мёртвого. Было непонятно, куда девались все цвета, кроме чёрного? И почему промеж стволов тьма столь материальная, столь густая, что, кажется, мир там обрезали ножницами, заклеив пробелы чёрной бумагой?.. Георг вспоминал: что же его разбудило? И, не найдя ответа, вновь погружался в дрему... И так – без конца...

Но вдруг стальные копыта забили звонко. Георг выпрямился, ощущая, как проходит сонливость.

Впереди – широкий холм с торчащими из земли валунами и старыми домиками.

Деревня была мертва. Дымные облака спускались на ветхие крыши. Стены зияли проломами. Сломанные заборы, сгнившие сеновалы, сухие яблони – всё сдавлено прессом векового безлюдья. Конь шёл мимо домов. Облака спускались ниже, ложась на дорогу туманом, затекая в глазницы окон, вылезая из дыр огромными пальцами. Но туман был не везде, словно боясь коснуться полуразрушенной телеги, журавля колодца, маленького сарая... И тишина – лишь слышно, как где-то одиноко скрипит доска – далёкий прерывистый стон.

Георг не сразу заметил, что конь остановился перед домом, таким же старым, как всё вокруг. Передней стены не было, но за толстыми брёвнами, державшими крышу, трудно что-то увидеть – туман заполз внутрь, заполнив дом как бутылку. Георгу подумалось: где-то там должна быть железная кровать – голая, ржавая, похожая больше на ложе для пыток. Откуда взялась эта мысль, он не мог понять.

В туманном пространстве дома слышались шорохи и тихие всплески. В холодном пару показалась фигура. Жалкая, ломающаяся – не человек, а какая-то тень. Медленно,

припадая, она двигалась к Георгу. Худое как спичка тело дрожало, тонкие руки висели плетьюми. Заметив Георга, человек пустился бегом – тяжело, неумело. Он бежал и бежал, с шумом плескалась вода, но приближался медленно, точно пространство растягивалось. Но вот он добрался до брёвен, вросших меж крышей и полом. Георг смог разглядеть бледную кожу и одежду: рваный плащ, изодранные в клочья штаны, рубаху, сшитую из множества лоскутов. Однако лицо постоянно ускользало от взгляда.

Человек приблизился к коню, вытянул руки в страдальческом жесте. *К чёрной шкуре тянулся...*

Он силился что-то выговорить, но ничего не получалось, кроме мычанья, пока, наконец, не вырвалось тихое, стонущее: «Х-х-е-е-кто-о-ор...». Он умоляюще приблизил ладони к конской шее, но конь, фыркнув, отвернул морду. Человек всхлипнул. Склонив голову на грудь, стал что-то бормотать, как ребёнок, которого наказали ни за что ни про что.

Это продолжалось долго. Но вот человек вытер лицо и стал медленно обходить коня сбоку. Зайдя Георгу за спину, человек затоптался на месте, словно рассматривая что-то на земле. Георг слышал слабый заискивающий голос:

– Принё-ё-ёс... Принёс, Хектор... Старшенький... Старшенький... И этот... И этот – нам!.. Принёс!..

Георгу почудилось, что он видит тонкую нить, тянущуюся от лошадиных конечностей к чему-то чёрному, лежащему на земле. Он даже разглядел ноги, обутые в кожаные сапоги, но, моргнув, увидел, что ничего этого нет. Игра теней и тумана.

Тем временем человек уже гладил тонкой ладонью конский круп, заискивающе прижимался щекой, целовал блестящую шкуру и всё шептал, шептал:

– Да, Хектор... Ты сделал!.. Ты всех... Один остался – младшенький... Но ты и его!.. Ты его тоже!.. Ты его быстро... – Он поднял голову вверх. Георг почувствовал на себе взгляд – умоляющий, полный боли. – Хектор, позволь... разок... – Протянул ладонь к сапогу Георг, но не коснулся, замер в нерешительности. – Позволь?.. Последний раз... – С отчаянием в голосе. И, отойдя на шаг, опустив голову, зашептал, всхлипывая, нечто важное, но не то, чего хочет, не то, о чём думает: – Один остался, Хектор... Младшенький... Слабый... Ты легко... Ты быстро с ним...

Он стал отдаляться, растворяясь в тумане. Конь зашагал мимо заброшенных домов, чёрных груш, повалившихся заборов, и всё, что было позади, превратилось в одну большую серую стену. Они спустились с пологого взгорья, и Георг, обернувшись, увидел: никакой деревни нет и взгорья тоже нет – лес позади, и вокруг тоже лес; стволы сосен – живые и одновременно мёртвые, а за ними – тьма.

Георг чувствовал пустоту внутри себя. Облака клубились над головой. Он думал, глотая слюну, что так и будет – этот нескончаемый вечер, застрявший в каком-то кармане, в щели между мирами. И он закатился в неё мелкой монетой. Навсегда. Но боль *почти* прошла – вот главное.

Он слабо покачивался в седле, а вокруг был лес – бесконечный, страшный. Сосны, сосны, сосны... Кругом: внизу, вверх; пляшут, кривляются; растут и сжимаются – уродливые, с тёмными трещинами, жадными, не дышащими ртами. И те же деревья – прямые и гладкие, до оледенения неподвижные; верхушки исчезают в небе. Тишина роилась в ушах.

Георг вдруг почувствовал: в пальцах стало колоть, точно какие-то насекомые жалили. Ему показалось, что он поймал одного, но увидел – в пальцах ничего нет. Дело в

размерах, решил Георг, такие маленькие, не разглядишь. Начало выкручивать кости... Боль возвращалась... Не успев уйти, она была уже здесь, с издёвкой шептала на ухо: «Ну, погоди, сейчас займусь тобой хорошенько!» И Георг знал: так и будет, каждую клетку на зуб попробует – не торопясь, смакуя. За то, что пытался её изгнать... Георг заметил – леса нет; они на дороге, а впереди распахнутые настежь ворота и его дом в холодном полумраке... В нос ударила затхлость с примесью ржавчины. Глотка сделалась деревянной. Он сунул нос в воротник – запах лекарств ввинтился в ноздри. Голова закружилась, но рвота будто застряла в горле.

Конь встал. Георг вываливался из седла, точно оно было смазано чем-то. Пальцы не слушались... На мгновение Георг ощутил, что падает, и тут же – земля ударила в колени. Ноги будто раскололись, как сухие поленья.

Он был в воротах. Нигде не горел огонь. Ни одно окно не светило изнутри. И тишина. И затхлость. Ворота перекошились от сырости и времени. Колодец осыпался. Столбы валялись на земле кусками гнилой древесины. Сотни лет, казалось, прошли с тех пор, как Георг покинул двор... Сарай, домики слуг – осевшие, перекошенные. А замок – чёрные стены готовы вот-вот рухнуть; лопнувшие рамы, гнилые занавески, торчащие бахромой в стекольных зубах. И тут и там по всему фасаду большие красные пятна, похожие на символы какого-то алфавита.

*Кончилось... Чуть-чуть бы ещё... Чуть-чуть!*

Боль находила волнами. Крупными каплями выступил пот – горячий, вязкий. Дышать сделалось тяжело. Георг распахнул плащ, рукой стал рвать рубаху, сшитую из лоскутов, другой пытаясь дотянуться до конской шеи. Но конь отворачивал морду.

Тут Георг заметил: на крыльце кто-то стоит, облокотившись на уцелевшие перила. Не Август. Человек огромного роста. Меховой воротник на плечах; волосы, точно львиная грива. И весь он был чёрным, совсем как глубокий провал, случайно получивший человеческую форму.

– А-а-а, это ты! – Донёлся металлический бас, до боли сжавший Георгу череп. – Явился?.. На кой чёрт ты мне нужен? Я у себя воров не держу! От них пахнет... Скверно пахнет!

Георг хотел что-то ответить, но язык не ворочался.

– Смердит, как от ямы! Обманщик!.. Слугу моего обманул. Извёл... Ты хоть знаешь, как он страдает? Знаешь? А я скажу... Лицо его видел?.. У него ямы чёрные вместо глаз, провалы до самого мозга! Спать не может... Только ляжет – адская боль... Он там правду видит. Умирает хуже, чем смертью... А ты!.. Хорош, ох, хорош!.. Явился на моём коне! Моим именем назвался! У-у-у, обманщик!

Во рту пересохло. Затхлый воздух проходил до сердца, обжигая холодом. Хотелось коснуться шкуры, влезть в седло, скакать куда угодно, лишь бы боль отступила... И чёрт с ним, что дальше, пусть сильнее рвёт, но не сейчас... Там где-нибудь, в будущем...

Человек стал подниматься по ступенькам. Доски скрипели. Георг вспомнил: давным-давно эти доски скрипели и под его ногами – всю жизнь, которую он тут прожил – когда мать была молода, целовала его в лоб перед сном, а он бежал в одной рубашке, гонял кур, играл с собаками и взлетал по лестнице, как по крутой горке – босиком. Они тихо пели, а теперь кричат под тяжестью стальных сапог.

Человек остановился у дверного проёма. Повернувшись к Георгу, скрестил на груди огромные, как брёвна, руки:

– Явился!.. И кто тебя звал?.. Прямо на ворованном коне – сюда... Чего тебе надо? Твоего здесь нет! – Тут голос вдруг изменился, стал тихим, шипящим. Георгу показалось, что он слышал его раньше. Когда керосином пахло, и тени убегали чёрными кошками, но так и не могли убежать. – Думал, попробую разок и всё? Как бы не так!.. Думал, в игру играешь, надоест, скажешь «хватит» и пропало?.. Весело было играть? Звёзды зажигать?.. Хороша игра! А что платить придётся – забыл... Что худо будет – не верил... «Сейчас главное, а потом – гори всё огнём!» Сейчас... Ну как? Хорошо?.. Поздно, воришка, поздно! Не отпустит. Никогда от себя не отпустит. Как ни проси, ни кричи, ни вой! Раз попробовал – считай, пропало... Да-а-а... И сейчас ведь хочешь – лишь бы в седло, скакать... Не отпустит! Так и будешь рабом, всё глубже и глубже падать... А зачем? За удовольствие?.. Вот дурак!.. Мир променял на секунду блаженства! Лживого блаженства!.. Но – и за это надо платить... Сначала вещами. Потом друзьями. А затем – теми, кто ближе: матерью, отцом, братом... А что тебе? Тебе лишь бы взять... Но вот когда платить нечем – собой. Кусочек за кусочком... И нельзя отказаться, нельзя вернуть. И «хватит» уже не скажешь, а если и скажешь – это будут ведь просто слова, пустой звук...

Георг через боль старался дотянуться до конской шеи, которая была одновременно так близко и далеко.

– Или хотел доказать? В отместку сделать, в укор, чтоб родные страдали, мучились перед тобой?.. За то, что не понимали. За одиночество... Которое выдумал! Как оправдание выдумал, и сам запутался, что настоящее, а что нет. Стал утопать, как в болоте. А оттуда, из болота, поднималась вся гниль... А одиноким не был – сам отдалился. Говорил: «Не поймут». Придумывал... И становился рабом!..

А они бы поняли. Готовы были понять. Готовы были помочь, даже когда ты их проклял!.. Любили тебя... Они бы тебе помогли. Они бы спасли – тогда ещё можно было... Но теперь – всё, не отпустит! Никогда!

Георг тянулся к конской шкуре, но не мог её нащупать. Он скосил взгляд. Конская голова висела, точно оторванная от тела. В пустых глазницах жужжали мухи. Жёлтая кость выпирала из трещин в чёрной шкуре.

– С этого и начинается – с недоверия. Недоверия к близким... Когда его придумывают... А там: тайны, мании, фобии – по наклонной. И настанет момент – сам меня выпустишь! Побежишь, как щенок, отворять ворота!.. И вырваться уже не сможешь... Кусочек за кусочком... И некому защитить – уже взаправду – сам уложил их в могилу, а головы продал! За секунды блаженства!.. И как бы ты ни просил – уже поздно; нельзя вернуть. И остановиться нельзя... Да, самое страшное впереди!.. До конца ещё ой как далеко!

Человек замолчал, развернулся, собираясь уходить, но, помедлив, вновь обратился к Георгу:

– Чего тебе нужно? Кто тебя звал? Я не держу воров! Проваливай к чёртовой матери! И клячу забирай – на кой мне твоя дохлятина!

Из денников раздалось ржание и топот сотен стальных копыт. Георг, казалось, видел, как они приплясывают там – бесчисленное множество коней с чёрной шкурой и блестящими стальными ногами.

– Проваливай! И не смей приближаться к моему дому! – И он скрылся во тьме, хлопнув перекосившейся дверью.

Боль ломала, грызла, давила чугунной плитой. Хотелось одного – влезть в седло, отрешиться от мира и хоть чуть-чуть притупить эту боль.



Конский череп был опущен к земле. Куски чёрной шкуры висели рваными тряпками на рёбрах. Голый позвоночник был похож на полотно тупой пилы.

Заморосил мелкий дождь.

Георг взял за узду – позолота царапала кожу. Стал тянуть – туда, за ворота, со двора, что некогда был его домом. Конь еле плёлся. Кости нудно скрипели, ржавые ноги бухали по земле. А Георг всё тянул, представляя, как влезет в линияное седло, ударит каблуком по голым рёбрам и медленно двинет вперёд, ощущая, как боль слабо, ничтожно слабо будет отступать...

Ворота закрылись с громким стуком.

Они оказались в волнах высокой травы. Среди дождя и ночи.



## ПОХОРОНЫ, или КОРОТКИЙ РАССКАЗ О ДРУЖБЕ

Осень. Предзимье. Щербатый, неровный асфальт. Дорого на рынок – меж голым парком и рифом заборов. Скорбно-свинцовое небо. Ветер стягивает кожу.

Иду, уж не помню, по какой надобности, дышу через шарф. Прохожие – раздутые призраки – возникают и исчезают. Пробегающий барбос обнюхивает ноги...

Впереди меня две старухи. Одна низенькая, сгорбленная, как вопросительный знак. Каменно-серая куртка, мохнатый платок; она неуклюже переставляет ноги, обутые в тёмные войлочные сапоги, опирается на гладкую палку-трость. Вторая – высокая, полная, подвижная. Тяжёлая сумка в руке качается из стороны в сторону, как маятник. Стянутое в поясе пальто делает её похожей на снежную бабу. Когда она поворачивается, из-под капюшона торчит рыжая пятерня крашенных волос.

Они разговаривают. И через рябь собственных мыслей я чувствую, что говорят о похоронах... Об отпевании; скорбной, но до страха обыденной дороге «за веренку» (горбатая спрашивает: «Чего? С музыкой – без?»), пахучих сосновых ветках, об автобусе и казённой лапше, о том, что кто-то сказал, а кто-то не сказал... Они разговаривают, сбавляя шаг. Вот уже останавливаются лицом друг к другу – морщины-

сто-полное к высохшему. Горбатая в возбуждении постукивает палкой по белесому от мороза асфальту.

Я обгоняю их и слышу:

– А сколько ж у неё было? – с волнением спросила горбатая.

Высокая, задумавшись:

– Ну... Человек пятьдесят...

– Ох! – в полный старческий голос. – Пятьдесят?! Ой! Да на моих сто будет!

...По-над дорогой сухой шелест мёрзлых трав.

Тоже в каком-то смысле амбиции.



## СИЯНЬЕ ГОР

*Бегу. Сугробы. Мёртвый лес торчит  
Недвижными ветвями в глубь эфира.  
Но ни следов, ни звуков. Всё молчит,  
Как в царстве смерти сказочного мира.*

Афанасий Фет  
«Никогда»

1

**Д**а, я был болен. Теперь я часто прихожу к выводу, что это мой бред, мои видения. Но едва обломки памяти сходятся воедино, в одну пугающую картину – моя иллюзия пропадает, точно утренний туман. И мне становится больно. И страшно.

Сколько я провёл без памяти, в окружении костей и позолоченных доспехов?

Я спрашиваю: «Где я? Что со мной? Как я здесь очутился?» Но прошлое приходит – от начала до конца. Яркими картинками, разделёнными мраком.

И я вспоминаю...

\* \* \*

Тогда, давно, я был болен – горы впитали мою душу. Я был одержим. Одержим жаждой золота. Мне всюду мерещились слитки, золотой песок, сияющие самородки. Во всем виделись знаки, указывающие путь. Нервы были на

пределе. Душевные силы покидали с каждым часом. Я стал раздражительным, вспыльчивым. Я злился без всякой причины. Сон был тревожным. А во сне всё одно – золото, золото, золото...

Сны. Я в них поверил. И в эту ночь он пришёл – мой сон. Ветер бил в брезентовые бока палатки, на которых прыгали тени, созданные близким костром. Я долго ворочался, пытаюсь побороть тревогу. Глаза слипались, но скачущие мысли не давали расслабиться. Но тут, казалось, ветер прорвался через брезент и увлёк меня за собой. Прежняя тяжесть – душевная и физическая – растворилась в потоках воздуха. Я ничего не видел, пока не очутился на изрытом бороздами лавовом поле. Я слышал выстрелы и взрывы за горным хребтом по левую руку. Канонада пугала. Я боялся войны, боялся, что если фронт дойдёт и сюда, мне придётся бежать и навсегда забыть о сокровищах. Но это лишь взрывы. Вспышек не видно. Я успокоился. Над лавовым полем стояла ночь, а чёрное небо казалось жёстким куполом с фонариками звёзд. Луна походила на серебряное зеркало. Она испускала бледное сияние. Какие-то неясные фигуры отражались в ней.

И вот одна из фигур стала увеличиваться в размерах; черты проступили резко – я узнал её. Тыкым. Он был наг. Худое тело казалось покрытым шерстью, через неё просматривались рубцы, которые я не видел в реальности. Голова поднята к небу. Раскосые глаза прикрыты. Руки безвольно опущены.

Он стал покрываться золотом, точно на голову ему лили краску. Началось с прямых волос, из чёрных ставших жёлтыми. И ниже – заблестел лоб и узкие прорезы глаз; перекинулось на сломанный нос, тонкие губы, шею. Ниже – на плечи и грудь...

Мне стало противно. Фигура треснула и рассыпалась, как каменный идол. Раскрошилась луна, а вслед за ней и всё лавовое поле. Вновь ветер подхватил меня, понёс дальше.

Я опустился у подножия странной горы. Гора – гладкая и ровная. Она выделялась правильной формой и больше всего похожа на идеальный конус. Но, между тем, это настоящая гора. На вершине искрился снег.

Но было ещё кое-что... Она светилась. Свет шёл изнутри, из самого камня, разгораясь всё ярче и ярче. Он манил. Он очаровывал, проникал прямым в сердце. Это был свет моих грёз – сияние золота...

Я вздрогнул и проснулся. Я был ошарашен и в то же время не мог отойти ото сна.

*Не может быть! Это место должно существовать. И там всё замкнётся, в этой горе. В ней вся моя жизнь.*

И ещё я остро чувствовал, что нужно вернуться назад, к Старику.

Я выскочил на свежий воздух. Была ещё ночь. Меня окатило её холодом, по телу побежали мурашки.

Тыкым спал, обхватив винтовку руками. Он сидел, опершись спиной о брезент, почти завалившись набок. От костра остались одни головешки.

Я пнул Тыкыма под рёбра.

Тыкым дёрнулся, непонимающе уставился на меня. Мне стало стыдно от его взгляда, но я только крепче сжал зубы.

– Вставай. Утро проспидишь.

Отчего волки нас ещё не съели?

## 2

Если бы я не встретил этого Старика...

Моя пустая голова, точно губка, впитала все его таинственные истории. Я заболел ими – вот откуда моя болезнь.

Такое бывает, когда слушаешь чьи-то рассказы, сидя ночью у костра, и хочется вырваться из скучной трясины реальности. Только Старик был сильнее. Он умел зажечь в человеке огонь.

Старик... Как странно – я не помню его имени. Для меня он остался безымянным Стариком. Тощим, седым, в больших круглых очках.

Теперь мы возвращались к нему – две грязные фигуры на фоне унылых холмов. На спинах – рюкзаки, тяжёлые кирки, небольшие острые лопаты. Ружья болтались на ремнях – приклады хлопали по ляжкам, а стальные дула смотрели в небо, в синюю бездну.

Лежалый снег хрустел под ногами. Кое-где виднелись большие прогалины каменистой почвы. С холмов стекали ручьи, скапливаясь в мутные лужи.

Мы вернулись к Старiku за одиннадцать дней – быстрее, чем я ожидал. Незачем было разрывать холмы, хоть чем-то напоминающие курганы. Незачем было долбить лёд, обливаясь потом. Мы шли по изведанной тропе.

Я плохо помню тот отрезок – вероятно, он был очередным провалом в моей памяти. Однако я помню, как однажды утром с юга пришёл туман. Сырая мгла скрыла собой очертания предметов. Но к полдню солнце разогнало его, и я увидел, что мы на месте.

Впереди возвышался большой холм с еле заметным крестом на вершине. Каменная пирамидка развалилась, но сам крест был также ровен, как и прежде. Толстые стёкла очков, лежащие рядом, играли бликами в лучах солнца.

Своей смертью Старик предал меня. Он умер как-то неожиданно – поранил ногу неизвестно чем, неизвестно как. Нога стала опухать – вероятно, грязь попала в рану. Старик

не подавал вида, а может, просто не замечал в бреду своих идей. Он хромал – это было. Но мало ли, что могло случиться?

В один «прекрасный» день он упал как подкошенный.

Была зима, и снег сыпал белой пеной. Старик лежал в снегу – худой и длинный. Когда я наклонился, то ощутил, как от него исходит жар. Морщинистое лицо налилось кровью. Его начал бить озноб.

Мы обернули Старика в одеяла и наши тёплые куртки. Мы разожгли вокруг три сильных костра. Растирали спиртом, брызгали водой в лицо, но мук одолеть не смогли. Он умер, не протянув и полного дня.

Это был кошмар. Тыким кружил вокруг тела, хлеща воздух руками. Он отгонял духов смерти. Но его несвязные крики тонули в снежной завесе, и лишь где-то далеко вторил ему протяжный волчий вой.

Я был около Старика, припав ухом, пытаюсь расслышать слова. Он должен был что-то сказать. Но молчал.

Я надеялся и слушал, и слушал... Пока не понял, что Старик мёртв.

*Он бросил меня!*

В глазах потемнело. В гневе мир стал чёрным и злым. Должно быть, я проклял Старика – громко и не один раз.

Затем я долго бродил неведомо где, заметаемый снегом... Мне хотелось накинуться с кулаками на какую-нибудь скалу, чтоб костяшки разбились в кровь. Я возненавидел тот день, когда решил отправиться с ним в Зону Тишины. Я не замечал, как течёт время, а ноги уносят меня всё дальше и дальше. Но спустилась ночь, и жуткий мороз заставил опомниться – искать путь к костру.

Лишь каким-то чудом я добрался до места. Но Старика уже не было.



Пока я бродил чёрт знает где, Тыкым выдолбил в земле неглубокую яму на вершине холма. Он окурил это место дымом, очистил заклинаниями, укрыл тело усопшего пирамидкой из камней, что смог найти под снегом.

У этой пирамидки я и простоял на коленях всю ночь, горько рыдая и кусая руки. А утром, когда снег перестал, разыскал заледеневшее дерево и из веток его соорудил крест.

Забрать бы назад проклятья! Но слова не воротишь.

\* \* \*

Тыкым, по обыкновению, что-то бормочет, но я не слушаю... Впрочем, ему это и не нужно. Наверное, рассказывает о местных зверях. О том, какие они сильные, злые. «О! – говорит он. – Какие тут лоси! Большие и свирепые. А рога! На них, как на лавке, могут рассесться трое мужчин. О, какие тут волки! Жадные, хитрые демоны, а глаза горят, как угли. А уж медведи! – говорит он. – Огромные, как твоя скала. Клыки – что твой нож». Но я не слушаю, и слова пролетают мимо. Теперь я знаю, что нужно делать – у меня есть мой сон.

Старик, ты не смог указать мне дорогу. Теперь ты разлагаешься здесь, проклятый и оплаканный мною в один день. Но я знаю, в каком направлении идти. Теперь у меня есть мой сон. И я пойду по нему, как по карте – к своим сокровищам.

3

Мы в Зоне Тишины. Место это безлюдное и обширное настолько, что не хватит и жизни обойти её всю. Огромная площадь земли, покрытая мшистыми валунами, напомина-

ющими древние истуканы. Почва, изуродованная оврагами и голыми холмами, у подножий которых растут чахлая трава и одинокие ели, закрученные спиралью. Среди холмов встают обтёсанные ветром монолиты – будто титанические пальцы, вонзающиеся в мякоть неба.

Здесь нет людей. Ни одного следа от горизонта до горизонта. Зона Тишины – табу. Ни один охотник, ни один оленевод не может проникнуть сюда из-за суеверного страха, впитанного с молоком матери. Они верят, что вся эта местность – проекция мира. Каждая былинка, каждый камень имеют здесь особый смысл и отображают всё, что существует на Земле. Одна упавшая с ели иголка может решить участь мира, превратить в ничто народы и расы. И потому это место запретное, «тихое».

Даже в самый голодный год охотник, преследуя добычу, не смеет следовать за ней в Зону Тишины. А тех, кто хоть на полшага заступит на запретную территорию, ждёт суровая кара. Четыре месяца не могут они разжигать огонь и должны всей семьёй переселиться из юрт в землянки, жить там, не видя солнечного света. И каждый может прийти к ним и беспрепятственно зарезать или забить палкой. Ведь нет к ним теперь сострадания.

Такой была Зона Тишины. Такой она пришла к нам из глубин веков и такой останется до Судного Дня. Обширная граница земли, оваянная ореолом таинственности, страшными слухами, но всё же прекрасная своей дикой природой.

Я здесь из-за легенды. Легенда – зерно стараний многих историков, фольклористов, этнографов. Готов поклясться, они и не думали, что, работая независимо друг от друга, отделённые меж собой пространством и временем, мимо­лётно, крохами касаются одних и тех же вещей. Возмож-

но, единственным человеком, связавшим всё воедино, был Старик.

Возможно, ему пришло откровение... Но я уверен: он почерпнул многое из древних запретных рукописей, что ещё хранятся у буддийских лам, или спрятаны в гиблых местах Монгольской пустыни.

Давным-давно, тысячелетия назад, по этим просторам кочевали арийские племена, расселяясь по всему свету, создавая первые цивилизованные государства. Это была заря нового человека. Тогда стали проявляться принципы, обычаи, традиции, что, слегка изменившись, правят и современными людьми. Именно тогда стал медленно происходить разлом – постепенное расслоение на богатых и бедных, на управителей и подчинённых. Теперь в каждом племени были свои вожди-шаманы, знать воинов, а в противовес им чёрные люди – рабы. С течением времени пропасть меж ними всё расширялась, становясь нерушимой преградой. Вожди стали живыми детьми богов. Они могли диктовать свою волю, они правили жизнью своих людей, карали и миловали. А те, кто охотились, пасли скот и обрабатывали землю, спустились до уровня вещи, стали собственностью высших каст.

Именно тогда утопающие в роскоши Наместники Богов пришли к мысли, что негоже им покоиться в одной земле с простыми смертными. И когда они умирали, их приближённые с почестями и дарами уносили тела в неведомые, безлюдные земли, чтобы схоронить там, в Царстве Мёртвых, как они полагали.

Так родилась легенда о Пахьёле – загадочной Стране Мёртвых. Сейчас уже нет сомнений, что древние верили в существование Загробного Мира не под землёй или в небесах, а здесь, на земле, только где-то далеко на севере или

западе. «И приходят оттуда с разрушительными ветрами злые духи – буревестники войн и катастроф». Лишь посвященные знали, где находятся эти земли. Знали и держали свои знания в тайне.

Этносы сменяли друг друга, истребляли друг друга, отесняли с нажитых мест.

Никто не может сказать, хоронили ли скифы своих королей в бесплодных, запрещенных землях, и дошли ли слухи до гуннов, двинувшихся на запад в поисках легендарного золота... Достоверно известно лишь то, что идея о Земле Мертвых с новой силой вспыхнула в Монгольской Империи, скопившей в себе всю мощь Азии.

Стоит вспомнить хотя бы историю Чингисхана, о том, как после его смерти военачальники решили устроить так, чтобы душа Властелина наслаждалась вечностью в «идеальном месте». О том, как хоронила его процессия из двух тысяч человек, которые были изрублены после восьмью сотнями конных воинов, дабы те не смогли поведать о месте захоронения. Да и сами воины были казнены потом для поддержания тайны.

На этом история Пахьёлы заканчивается...

Однако стоит нырнуть глубже в воды истории, в самые недостижимые её районы и увидеть, как в начинающем леденеть Северном океане гибнет цивилизация Гипербореи. Последние выжившие жители бегут на материк, на юг, спасаясь от наступающих холодов. Они почти бессмертны и всемогущи, но под гнетом мировой катастрофы начинают деградировать. А что, если для сохранения своих знаний они выбрали именно это место? Место, о котором у здешних охотников осталась лишь уверенность, что каждый камень тут имеет отношение к судьбе мира, да название – «Зона Тишины»?

Мы вышли на берег реки, и я сразу понял – эта река была в моём сне. Нет, я не видел её там, но чувствовал. Странное, ни на что не похожее чувство.

Бурный поток нёсся, петляя, разбиваясь о валуны. К берегам приносило пену, в воздухе блестела водяная пыль. Дальше река расширялась – течение становилось медленным, скучным. Но потом сужалась вновь, и вновь поток мчался – извиваясь, преодолевая пороги.

Со всех сторон её окружали каменистые холмы с пятнами грязного снега. Их цепи создавали что-то вроде желоба – дельту реки. В этом году снега было мало, и я представлял, как в самые снежные годы река выливалась из берегов, бурлила, ревела, будто разбуженный медведь.

Я на одном из холмов. Я ощущаю себя после провала в памяти и как попал сюда – тайна. Точно от могилы Старика ничего не существовало, и вот – река. Холм, на котором я стою, самый высокий. Я вижу всю панораму. Всю и каждую часть в отдельности, словно могу остановить мгновение и придвинуть к себе, увеличить любой предмет, будь он хоть трижды далеко от меня. Вот оно, чувство, что было во сне...

Я вижу холмы, то, как они уменьшаются, становясь неровной линией на горизонте. Я вижу: далеко-далеко на западе, почти на границе зрения, стоит горный кряж – чёрный, точно зубы дьявола. Вижу: ртутная лента реки, как она, петляя, уходит вдаль. Вижу: на бородавчатую корягу опускается с неба орёл. Клюв приоткрыт. Красный язык слегка поднят. Он торопливо дышит, остужаясь после полёта. Крылья расправлены. Орёл огромен. В глазах моих он растёт, увеличивается. Он собирается взлететь, и мне ста-

новится страшно – затмит половину неба. Но взлетает – какой-то маленький, грязный...

Чудесное ощущение пропадает.

Тыкым бросил в воду снежок, и тот всплыл горстью бесцветной каши.

– Хорошая река, – с улыбкой сказал Тыкым. – Весёлая!

Но мне не весело.

Какое-то время мы пытались мыть золото. Вода была холодной, словно прокатившись меж холмами, впитала последние остатки зимы. Пальцы краснели, делались бесчувственными. Вслед за руками мёрзло всё тело.

В конце концов, мытьё золота было пустым делом. К чему тратить время, зная, что все искомые сокровища в той сияющей горе? И мы решили, вернее, я решил – двигаться дальше вдоль берега, не останавливаясь.

\* \* \*

Позже в одном из мест, где движение воды становится медленным и тягучим, Тыкым увидел что-то на дне. Спина его сгорбилась. Узкие глаза расширились. Одним прыжком он очутился в воде по колено.

Я наблюдал за его действиями, не в силах оторвать взгляда. Тыкым, по-кошачьи фыркая, ощупывал дно руками. Штаны и рукава намокли, приобрели тёмный оттенок. Несколько капель попали на лицо, оставив разводы, похожие на чёрные шрамы.

Он что-то нащупал, дёрнул, напрягшись всем телом, чуть было не упал. С жёлтым предметом в руках он в два прыжка выбрался на берег.

Лицо Тыкыма сияло, хоть он и дрожал от холода.

– Вот!.. – говорил он, еле справляясь с дыханием. – Давным-давно, старые говорят... Свалились... с неба... люди...

Только небо тогда... чёрное, и звёзды маленькие – дети ещё... А люди были огромные. Со скалу... вышиной... Стали они юрты ставить – земля провалилась под весом... Ушли люди под землю... Ослепли совсем... Живут там, ходы клыками роют... пока не помрут, да земля... не вытолкнет кости кверху... О, какие у них большие кости!..

Тыкым держал кусок мамонтового бивня, похожий на чуть согнутую толстую палку.

Я был поглощён его лицом.

Оно мне незнакомо. В нём есть нечто новое. словно за ним, как за маской, что-то скрывается – такое незаметное, срощеся с его настоящим лицом.

Как этот взрослый мужчина с умом ребёнка мог втереться в наше дело? Как он вообще здесь очутился? Так ли он глуп?

Я зашагал вперёд, не оборачиваясь.

Тем же вечером, вслушиваясь в храп Тыкыма, я думал:

«Мамонтовая кость – подарок. Подарок щедрый, но недорогой. В Европе идёт война. Взрываются снаряды, льётся кровь – державы бьются, не жалея сил. Страны рушатся, утопая в крови и страхе – и неизвестно, за кем останется власть. Мир после войны будет другим. Он станет голодным, озлобленным. Что будет стоять там мамонтовая кость? Золото – другое дело. Оно всегда в цене, при любой власти. Война пройдёт, и его цена возрастет вдвое, втрое, в десятки раз!.. Да и сама война из-за золота. Идущие на смерть даже не знают, за что воюют. За мир? За свободу? Как бы не так! Легионы лежат мертвецами, напоив поля кровью, даже не задумываясь, что все они – пешки в игре поверх их голов. Война идёт из-за золота!.. Золото само правит миром. Ведь золото и есть власть. Из-за него рушатся крепости, создаются и умирают герои, а кучки людей управляют миллионами. Каждый человек болеет той же болезнью, что и я...

С той разницей, что их недуг пока незаметен. Но стоит им узнать... Стоит появиться надежде...»

\* \* \*

На следующий день из-за холма выскочил огромный олень. Он мчался так быстро, словно за ним гналось нечто... Мчался прямо на нас.

Мы остолбенели.

Мы стояли на месте, и олень непременно затоптал бы нас, но вдруг отскочил, в одном порыве взлетел на небольшой утёс, нависший над рекой.

На мгновенье он застыл там – величественный и гордый, с высоко поднятой головой. Миг – и бросился вниз, в бурлящий поток...

Лишь спустя два дня мы наткнулись на его изломанное тело.

## 5

Дальше идти вдоль реки я не мог – что-то мешало.

Уже много дней весенний густой туман полз по земле, подобно исполинскому змею. Воздух был сырым и холодным. Очертания холмов, камней, редких деревьев проступали неясно. Шум реки долетал, словно издали, будто преодолевая множество преград.

Что-то внутри меня тяжелело, обвисало цепями, точно стена выросла поперёк пути, не давая и шагу ступить параллельно реке. Мне было плохо.

Я понял: нет ходу. Но куда же теперь?

Ответ подсказал диск предвечернего солнца, на мгновенье прорвавший белую пелену лучом, похожим на медную сулицу. На восток.



Мы оставили холмистые берега реки – туман рассеялся вместе с хандрой и сомнениями. И в этом тоже был знак.

Кажется, впервые я почувствовал себя хорошо. Я был на подъёме. Иногда хотелось смеяться. Я замечал: на губах играет улыбка. Из-за неё Тыкыму, видимо, казалось, что я тронулся умом.

\* \* \*

Ещё когда Старик был жив, Тыкым вызывал у меня раздражение. Но Старик ценил его, и мне приходилось с этим мириться. Когда же Старика не стало, Тыкым стал для меня чем-то вроде назойливой мухи, чьё жужжание перестаёшь замечать.

Меня уже не трогали его непонятные речи, которые он произносил то с глупым, то с каким-то таинственным видом. Сам на себя он, что ли, наводил страх рассказами о лосях, способных поднять на рога медведя, о волках, умных, словно человек, или о том, как из Зоны Тишины приходят нечистые бури, толкающие людей на убийства?

Но сейчас, когда светило яркое солнце, а под ногами я чувствовал «тропу», мне хотелось смеяться. И я глумился над ним. Большинство замечаний он пропускал мимо ушей или просто не понимал. Но когда я спросил, знает ли он, куда мы вообще идём, Тыкым вдруг изменился. Лицо его заострилось, точно у мертвеца. Он пробормотал что-то насчёт «огромных глаз» и замкнулся в себе.

С тех пор я стал замечать, что теперь он нарочно идёт в стороне. При этом что-то бормочет себе под нос так тихо – не разобрать. Когда же я подходил ближе, он быстро умолкал, стараясь не смотреть в лицо. Создавалось впечатление, будто он что-то прячет. Но что? Ведь у нас ничего нет, кроме куска мамонтового бивня.

Пускай! Теперь он меня не тревожил. Я мог полностью насладиться счастьем.

У меня есть «тропа»; я вновь чувствую легкость, словно с плеч упали горы. Вдвойне приятней ощущать это в одиночестве.

\* \* \*

Уханье неясности по ночам. Щекочущий ветер. А после – каменная тишина...

Пожалуй, это самые счастливые моменты из тех, что хранит моя память. Но как давно это было, будто тысячелетия минули! Занося свои воспоминания куском ржавого копья на угольно-чёрную стену, я заново переживаю всё. Переживаю в последний раз.

Мне бы очень хотелось задержаться здесь, на этом моменте счастья. Но я не могу: сила, что даёт мне возможность писать, существо, что сохраняет мне жизнь и рассудок, требует, чтобы я торопился...

6

Стая волков шла за нами от самой реки. Их было почти не видно, иногда я даже забывал об их присутствии. Это были хитрые твари. Они выжидали, когда мы потеряем бдительность или растратим патроны.

Тыкым как-то говорил, что в здешних волках живут души старых охотников. Было бы неплохо расспросить его. Только вряд ли получится – каждый теперь сам за себя.

Когда они выли, сердце холодело. Я прижимался к винтовке, забывая, что секунду назад – пусть в грёзах – я трогал руками гуртики золотых монет. Я был готов ответить

выстрелом на любой шорох. Но волки переставали выть, и наступала тишина. А я расслаблялся и засыпал, уверенный в том, что ничего не может произойти со мной этой ночью. А наутро всё забывал.

## 7

Большая низина, обрамлённая холмами. Пятна прошлогодней травы и валуны, заросшие мхом. Земля ещё сыровата, но оттенок её не такой уже чёрный. Небо чистое, лишь на востоке полосы перистых облаков.

На одном из холмов лежит поваленное дерево. Часть корней всё ещё держит землю, но часть вырвалась, повисла толстыми, узловатыми пальцами.

Зона Тишины не помнит людей уже сотни лет. Это дикие места, по которым не ступала нога человека с тех самых пор, когда тайна Пахьёлы была забыта. Местные племена убьют любого, кто попытается пробраться к ней.

Попасть сюда тяжелее, чем на Луну.

Но в этой низине – грузовик.

Кузов торчит под небольшим углом, а то, что некогда было задними колёсами, висит в воздухе. Вся передняя часть и кабина превратились в ржавый ком. Стёкол нет. Одна из покрышек покоится в отдалении рваным куском. Доски кузова обуглены, частично сгнили, но в нём ещё хранится какая-то чёрная масса, заботливо прикрученная к каркасу стальной проволокой.

Откуда он взялся? Мы в Зоне Тишины, каждая травинка здесь что-то значит. Грузовик должен быть *чем-то*. Но чем? Войной? Заржавевшими державами? Или старостью, что не щадит и металла?

Если бы Старик был жив. Он бы знал...

Я провёл рукой по тому, что осталось от кабины – ладонь сделалась красной от ржавчины. Мелкие чешуйки кололи кожу. Я опустил руки в холодную гору, что хранилась в кузове.

Пепел.

Ладони провалились, не встречая сопротивления. Какой-то космический холод проник в мышцы, стараясь достать до костей. Пальцы ощутили мелкие кристаллики льда, смёрзшиеся куски и небольшие фрагменты чего-то твёрдого. Наконец, когда руки ушли в пепел по самые локти, я нащупал что-то крупное и с силой вытащил на свет чёрный прямоугольник.

Вот как! В грузовике были книги, и давным-давно они горели так, что только в самом центре огонь не достал бумагу.

Что это значило? Может, призрак сгоревшей Александровской библиотеки? Или символ всех утраченных знаний: уничтоженных, сожжённых, забытых? Всё может быть. Если бы Старик был жив...

После холода руки приятно жгло. Закопчённый кожаный переплёт не держал листы, и те вывалились на землю. Ветер принялся трепать хрупкую бумагу. Захотелось поднять её... Но я должен был идти. Я чувствовал это так остро, как никогда раньше. Немедленно идти! Сейчас же!

Чёрным облаком над землёй пронеслась стая ворон. Их тела на миг закрыли солнце, и их хриплый грай стоял в ушах, пока я выбирался из низины.

Чудо осталось за спиной – всего лишь маленьким фрагментом из тех, что я ещё помню.

Этой ночью я не спал. Дул сильный ветер, пригибая пламя костра. Облака затянули небо. Луна пробивалась сквозь них, то и дело показывалась часть бледного диска.

Волки не выли, но я чувствовал их, словно видел, как они сгрудились за соседним холмом, и ветер бьёт их в бока, треплет линялую шерсть.

Тыкым спал рядом, согнувшись как пёс. Дым от костра тянулся к нему щупальцами осьминога. Тыкым храпел, но ветер уносил его храп в сторону.

Этой ночью я вновь вспомнил про книгу.

Она не была потеряна для меня. Вернее, часть её – два обгоревших листа.

Оказывается, я всё это время носил их за пазухой. Я не мог вспомнить, как они там оказались. Но так или иначе, они в моих руках.

Я подношу листы к огню, чтоб на них падал свет. Листы пропитаны потом и темны, как ночь. Но я различаю... Нет, это не текст – чёрно-белый рисунок. На нём люди в длинных хламидах. Их трое. пышные шевелюры, атлетические тела. У одного в руках трезубец. У другого – ломаная линия, изобращавшая молнию. Последний явно Зевс, а все они – Олимпийские боги, в которых уже тысячи лет никто не верит.

Я переворачиваю лист – на другой стороне Вулкан. Я узнаю его – он бог огня. У него чёрные демонические крылья. Из пасти течёт ручьями лава. Сильными руками он держит над собой крышу из каменных глыб, а вместо ног – сотня извивающихся змеиных хвостов.

Свет от костра ложится на лист дрожащими тенями, и картинка будто бы шевелится, рвётся в реальный мир. Линии проступают. Вулкан набухает, растёт. Мышцы сокра-

щуются. Грудь вздымается. Змеиные хвосты свиваются в кольца.

Я бросаю листы в костёр, и огонь пожирает их. Бумага съёживается, точно живое существо. Края сворачиваются, чернеют, рассыпаются. Вулкан вот-вот закричит, застонут боги Олимпа, страхивая огонь с курчавых волос...

Но вместо этого – смех.

На противоположной стороне сидит Тыкым, заливаясь хохотом.

Ещё минуту назад он крепко спал, а теперь смеётся, глядя, как огонь пожирает бумагу. Подбородок трясётся. Глаза сузились так, будто их и не было.

– Чего ржёшь?

– Смешно ведь! Правда, смешно! – отвечает Тыкым, ещё смеясь, но уже обретая свой загадочно-угрюмый вид.

Я ушёл от костра далеко – он превратился в мерцающее красное пятнышко. Где-то тут были волки, и ветер шевелил их шерсть, как шевелил и мои длинные волосы. Волки мёрзли, дрожали, как дрожал теперь я.

Когда в огне исчезала бумага, я вспомнил: где-то идёт война. Люди стреляют друг в друга, режут, бьют. Горят дома, сгорая до печных труб. Поля изъезжены гусеницами, и в саду, где стояла берёза, теперь лишь воронка от бомбы. Я живо представил и даже слышал, как гремят взрывы, щёлкает пулемётная дробь, кто-то кричит и затихает навеки... Точно звуки войны долетели до меня, пронзая огромное расстояние. Точно мёртвые поднялись из своих могил, и тени их разом упали на мою голову.

Но мне плевать. У меня есть моя цель.

Мой дом – Зона Тишины. Моя жизнь – золото.

Этой ночью я не спал. Мысли мои были темнее золы от сгоревших книг.

Наконец настал день, когда я понял – он последний.

Я ждал этого утра. Ждал, когда огненно-красный шар вырвется из плена земли и камня. Ждал, когда небо станет бледнеть, и тонкие облака окрасятся алым.

День нарастал. Солнце парило по-летнему, а редкая трава наливалась неистойвой зеленью. Это был чудный день. Я не шёл – я летел! Точно кто-то толкал меня в спину. Точно за плечами выросли крылья. Хотелось дышать полной грудью. Я впитывал всё, дабы запомнить ощущение лёгкости, прикосновения к цели. Может, поэтому ничего не запомнилось – так ведь бывает...

Время летело как пуля. Солнце склонялось к холмам. Тени вытянулись, распластавшись по неровной земле. Приближался вечер.

Я сказал себе: «Всё, что должно случиться, произойдёт рано или поздно. Предопределённого не изменить!»

И я приготовился ждать.

А волки ждать устали.

Стая очутилась впереди, точно выросла из камней. Линялая шерсть топорщилась серыми комьями. Глаза тускло блестели. Морды пригнуты к земле. Ряды острых зубов – напоказ.

Стая двинулась, не издавая ни звука, как призраки.

Я вскинул ружьё, выстрелил в того, что был впереди – старого вожака с красным пятном вместо левого глаза. Но рука дрогнула. Пуля ушла ввысь, оставив лишь грохот и запах пороха.

Вожак отскочил в сторону. А за ним и вся стая прижала уши и исчезла за ближайшими камнями.

– Плохо, – сказал Тыкым. – Попадать надо. Сейчас мало – ночью будет больше. Здесь хитрые волки!

Небо порозовело. Кровавый, точно глаз старого волка, диск уходил под землю, бросая неровные, страшные тени. А за следующим холмом меня ждала Гора.

\* \* \*

Не хватает слов описать её. Это было что-то древнее. Древнее, как костисто-жёлтая луна, как блеск холодных звёзд.

Я видел колоссальную пирамиду из каменных блоков, покрытых коркой мха. Ни одно сооружение в мире не могло сравниться с ней по мощи и грубой, завораживающей красоте. От неё веяло древностью, и эта *древность* сгущала воздух, наполняя его ароматами далеких затерянных миров и забытых цивилизаций. Пирамида была древней, была такой уже тысячелетия назад, когда эти места были покрыты джунглями, и полуголые, в волчьих масках, люди кричали что-то в небо на умерших языках.

Колосс не закончен, и я видел только основание конструкции, что должна была касаться облаков, поражать своей мощью и странной симметрией – это я чувствовал. Вероятно, сама Земля не смогла бы выдержать на себе подобного монстра. И то, что было начато, обратилось огромной ступенчатой пирамидой с плоской вершиной.

Хотелось броситься к ней, пощупать – не мираж ли?

Я наблюдал её с ближайшего высокого холма, и до пирамиды оставалось не менее четверти километра ровного пространства, выложенного мелким камнем, что-то вроде площади, окружающей её кольцом.

После коротких сумерек пришла тьма. От пирамиды остались лишь очертания. Чёрное на чёрном.

«Утром, – подумал я. – Всё будет утром. Не сейчас, не ночью, а при утренней заре. Ожидание – последняя мука».



Но как тяжело было ждать! Невыносимо ждать! И каждая минута тянулась вечностью.

Какой там сон! Я лежал на вершине холма, мучаясь, глядя в бездну ночи: туда, где прячутся в темноте огромные стены. Осиротевшие звёзды тускло светили, подмигивая, словно пытаясь что-то сообщить мне.

И тут – Чудо. Последнее из чудес...

Невидимая до того звезда внезапно засияла на небе невыносимым фиолетовым светом. От этой звезды, с космических высот упал тонкий луч. Упал на плоскую верхушку пирамиды, и та стала светиться бледным огнём. Где-то у подножья появился овал потайной двери, огромной – построенной не для человека. Воздух загудел – и вмиг всё прекратилось.

Я лежал точно парализованный, не смея дышать.

Тыкым зашевелился рядом. Даже в темноте я заметил, как расширились его глаза.

– Я видел это, – сказал он тихим голосом. – Видел во сне! Она звала меня – *моя Гора*...

И тут я понял всё.

## 10

Страшная, крупная дрожь.

Руки трясутся. В горле сухость пустыни, даже сглотнуть нечем. Крик мечется в голове, рубя, как дровосек полено.

Я натыкаюсь на стены, точно слепой. На высокие сияющие стены. Ноги давят хрупкие кости. Из углов смотрят глазницы пустых черепов. Тусклые от пыли золотые бляшки свисают со скелетов, словно мёртвая плоть. Там, где люди превратились в костную муку, живут черви, и пауки плетут свою паутину.

А тело ещё помнит отдачу от выстрела, и эта отдача бьёт меня с каждым ударом сердца.

Я помню, как он распахнул глаза, будто не веря. Но в последний момент он сомкнул их. Рука взметнулась, прикрывая лицо инстинктивным движением. А после – Тьма. Чёрная, страшная... Настоящая Тьма!

И вот стены, тускло сияющие... И эти кости... И золото... Паутина, толстый слой пыли на сокодвищах. Тлен вперемешку с монетами, кубками, обручами и нефритовыми перстнями. Все узоры стёрлись. Доспехи раздавили своих хозяев. Один бесформенный тлен и ужасный, затхлый воздух. Сухой – с примесью *того* пороха. С примесью крови и последнего, отчаянного горлового крика.

Указательный палец ещё помнит форму спускового крючка.

Я сполз у стены прямо на обломки костей. Я обхватил голову руками.

Рядом – гладкий серебряный щит. Я стёр вечную пыль и в отражении увидел своё лицо; увидел себя и не смог узнать. Лицо чёрное от вечной грязи. Впалые щёки, заросшие уродливой длинной бородой с ранней проседью. Узкий лоб, дрожащие губы. И глаза – одичавшие.

Другое лицо я увидел тут же: широкое, с узкими глазами. Спокойное, умиротворённое под бесчувственным светом далёких звёзд. Будто взгляд проник за стены, я увидел: тело Тыкыма охвачено кольцом больших серых масс. Волки стоят, опустив головы, будто прощаясь с одним из своей стаи. А тот, с кровавой глазницей, поднимает вверх разодранную морду. Дикий, запредельный вой уходит к небесам.

*Был ли Тыкым? Существовал ли этот человек в реальности? Уж не себя ли самого я убил?*

Безумие... К чему эти страшные действия в месте, где дуновение ветра решает судьбы народов? К чему?.. Что со мной? Дикая мания... Одержимость... Эта болезнь высосала меня. Управляла, как куклой... *Это не может быть только со мной...* Мерзость разрастается... Болезнь ползёт от материка к материка, от полюса к полюсу... Нет лекарства, только жадность, безумие. *Нет, это не может быть только со мной!*

Где-то мерцает яркий свет. Всполохи его манят. Я волочусь, еле переставляя ноги. Дальше, дальше по широкому коридору, усыпанному трупами, спотыкаясь о шлемы и ржавые пики. И вот впереди огромная железная дверь с трещиной у самого каменного пола, через неё и бьёт свет – узкая, но достаточная, чтобы заглянуть.

Там, за дверью, огромный зал, уходящий стенами ввысь. На стенах места живого нет от чудовищных мониторов, на которых всё одно: взрывы и пожары, горящие деревни, разрушенные дома, неровные ямы вместо могил, вопли умирающих, тучи самолётов, ливни пуль, гусеницы танков, пушки, нацеленные в небо, одинокие печные трубы, беззвучные крики солдат, простреленные каски, развороченные груди, изломанные тела...

Толстые кабели тянутся в центр зала.

А там – мои волосы шевелятся на голове; седина обеляет их перекисью ужаса – то, чего я не разглядел в начале. На циклопическом ржавом троне огромная многорукая фигура, согбенная полумумия с обвисшей кожей.

Но глаза живы. Горят безумным огнём – ненавистью ко всему человечеству...

## ЮЛЬКА

Город был ошарашен морозом. Город сжимался; казалось, всё в нём стремилось замереть и застыть. И каждый, кто поневоле оказывался на улице, мечтал забиться в какой-нибудь тёплый угол.

В одну ночь... Мороз ударил резко и больно, как ножом; размыл и сковал, объединяя всё – и твёрдую, как бетон, землю, и дымные призрачные небеса.

Здесь, на автовокзале, их было много, тех «поневоле». Они переминались с ноги на ногу, сбивались в какие-то кучки. Курили, втягивая в лёгкие табачный дым и едкий запах отработанного бензина, который висел сегодня в воздухе отчаянно плотно – не дышалось.

До отправления было минут пятнадцать. Наш маленький «ПАЗик» только наполнялся людьми, а находиться в нём уже было невмоготу. Я разместился «на колесе», прижав колени к животу. Сиденье рядом ещё пустовало, но прибывающие люди не давали надежд на подобную свободу. Я глядел в окно, зажатый между холодом по ту сторону и духотой здесь, внутри, – духотой человеческих тел, запаха истёртых сидений. Через забрызганные грязью стёкла город походил на призрак – дрожащий от холода, мутный.

В автобус влетела старуха в сером пальто.

– Ой, – крикнула, задыхаясь, – Юдановка?

– Хреновая! – отозвалась женщина с переднего сиденья, будто семечную лузгу выплюнула.

– Ой! – запричитала. – Уже ушёл? Ой!..

И выпрыгнула наружу.

– Во припустила-то! – чей-то ехидный мужской голос.

День был похож на вечер. С самого утра – один нескончаемый вечер. Холодный – до боли в груди, до мути в висках.

В автобус поднялась ещё одна женщина – высокая, с по-мужски широкими плечами. Увидев свободное место возле меня, она стала приближаться – постоянно за что-то цепляясь, на что-то наступая. Лицо её было бледным от мороза, раскосые глаза, казалось, не двигались. Она почти дошла до моего места, почти подняла пухлую чёрную сумку, чтоб водрузить её на сиденье, но тут словно окончательно за что-то зацепилась.

– Надя? – спросила она, повернувшись к людям, сидящим впереди меня. Голос у неё был сиплым.

К ней обернулось сразу две головы – я видел только вязаные шапки и пышные воротники.

– О!.. Лена? Ты? Не признала – богатой будешь! – отозвалась одна из сидящих впереди.

– И я! – Лицо вошедшей женщины словно треснуло улыбкой. – Домой?

– Домой... – Одна из голов отвернулась к стеклу, зато другая приподнялась. – Околеем, наверное, пока тронемся... А я тебя вспоминала, где ты есть? Не видно и не видно. Неделя прошла! Вот точно: хочешь увидеть кого – в Бобров езжай!

Вошедшая женщина – Лена – снова подняла было сумку и снова её опустила.

– Да я и сама думаю: попросила человека... Уж и покраситься надо. Этот – ерунда какая-то. Вон чего есть – солома. Как пугало хожу. – Голос у неё стал выравниваться, к лицу, бледному как отпечаток, начала приходить здоровая кровь.

– Да ты бы и не застала! – Надя дёрнула плечами. Она говорила быстро, точно отщёлкивая слова. – Я ж вон! Как на

работу – целый день! Оформляюсь – вон... С утра до вечера. Скоро и кошка не признает... Дверь бы хоть кто закрыл! Заморозят нас тут!.. Вон как получается, не сойдёмся никак. Только тут и встретились...

– Витька-то мой погорел... – вдруг сказала Лена так безжизненно, что подруга её замолчала.

На какую-то долю секунды они застыли, будто кто-то там сверху поставил на паузу – эти две женщины, в которых что-то вдруг затвердело и напряглось. В автобус ещё кто-то вошёл, и эта онемевшая сцена тут же задвигалась, словно система из двух планет. Лена наконец-то села рядом со мной, водрузив сумку на колени, словно разжиревшего кота – я сильнее прижался к стеклу. А Надежда повернулась, упёршись плечом в спинку сиденья. Мне стало видно, что ей около сорока, лицо у неё моложавое и худое, с резкими, выпиленными чертами.

– Погоре-е-ел... – протянула она на выдохе.

– Погорел, – по-деловому ответила Лена. Она приподняла свою сумку как доказательство. – Вот, из Павловска еду. Убиралась у них. Три дня там была.

– Погорел... – с меньшим доверием повторила Надя. – А с ним... что?

– А что ему? С ним-то – всё. А дом! Надя, ты бы видела! Всё на свалку! И запах этот – аж есть не могла! Сюда еду – гарь в горле так и стоит! И главное – дом цел, а комнаты – все в саже, всё как неделю горело! Ни промыть, ни прочистить!.. А там всего – о-о-ой! И телевизор – в полстены! – весь чёрный, будто его прям вот руками в сажу кунали. Система стояла: музыка, компьютер – всё на свалку!.. Весь зал. И кухня! Они кухню отбабахали только что – и всё, нет кухни. Пластик чёрный, оплавился. Кой-где оттёрли – ну разве оно годится? Вика всё слезами отмывала – сколько

денег вложили, сил – и всё!.. А зеркало – ты представляешь? – круг в центре, ни в копоти, ни в пыли, а вокруг чернота! Вот будто прошёл кто по дому – где гарь одна, а где чистенько, как оттерто... У Юльки в комнате всё черно, а кресло её как стояло, так и стоит. Краснучее, как огонь. Она всегда в нём сидела – удобное такое, крутится... Так даже дымом не пахнет!.. Вот её уже сколько нет?.. Они тогда его убрать хотели, переставить всё. А Витька говорит: «Нет, пускай стоит, как было при ней!» Так и оставили – компьютер, стол, кресло... Вика туда только тренажёр ставила, ещё до того, как Юлька... Ну они потом его убрали. Говорит: не могу туда заходить, сердце кровью обливается...

Лена замолчала. То ли нахлынули на неё чувства, то ли после холодной улицы стало ей жарко, она развязала платок (копна соломенно-рыжих волос вырвалась из-под него, как из-под стражи), вытерла ладонями лоб. Её собеседница, вынужденная молчать, казалось, не моргала. Сидеть ей было неудобно, отвернуться – тоже. Она, видимо, чувствовала, что должна что-то сказать, но выдавила лишь неопределённое:

– Вон как...

Но Лене и этого было достаточно:

– Вот так! – подтвердила она. – Я ещё тогда им сказала: на кой вы его ставите, камин этот? «Вот камин, камин!..» Это у Вики всё – как загорится – и давай, и давай! И Витька мой туда же. «Вон люди ставят, сейчас это самое такое!..» Вот и поставили. На свою голову! И как назло – вот как чья рука... Их же дома не было! Ты представляешь? К Викиной матери поехали. Юльки уже год как нет. Вот она: не могу и всё. То забудешься – вон придёт вроде, вернётся под ночь. Опомнишься – тишина аж по ушам бьёт... Говорит, уехать бы. Да и так, отдохнуть, дух перевести. Ту же кухню сделать,

знаешь, сколько сил уходит? Вот и поехали к матери её, аж под Россошь. А тут соседку попросили: заходи, посмотри-вай, мало ли... Она зашла, а там – о-ой! – аж дым из-под дверей! Смерть что есть!.. А Вике на днях сон приснился, она и говорит: давай домой. И звонок им прямо посреди дороги – так, мол, и так. Их как давай трясти!.. С дороги съехали – так трясло!.. Всё пропало! Телевизоры, компьютеры, камин этот... Про ковры с диванами вообще молчу! А знаешь, что было? Они когда поехали, всё повключали, позакрывали. Камин потушили. А он прогорел – да не весь! И что-то там тлело, тлело... И как ухнет! Вот так – шаром! И в диван! Он у камина стоял и не загорелся, а давай тлеть, чадить – на весь дом!.. Сутки тлело! И давай – на кухню, в спальню – по всему дому!.. Они когда приехали, диван насквозь прогорел. Говорят, соседка его из ведра обливала. Вот так – погорелись у камина... Витька мой чуть не седой стал... Да я и сама оттирала у них, а у самой душа криком исходит – сколько добра, сколько добра! И всё – выноси, вываливай. Вот как чья рука, будь она проклята! Я приехала, а они – кровь с лица посходила, смотреть страшно. Я: «Витя, Витечка, крыша-то есть, стены целы». А он – руки холодные, прям ледяные. Стены-то целы, а сколько вложено – вся жизнь их вложена! – и всё прахом, всё пропало! Никогда я его таким не видела... Как они переживут?.. Как?.. Мебель-то у них была дорогушая – кожа, дерево. И в гари теперь всё... В спальне – кровать их огромная вроде ничего, а вот бельё... Шкафы... Вика туда залезла, платья её – все чумазые, вонючие. Она их выкидывает и плачет, выкидывает и плачет... Обои – сдирай. Шторы шёлковые – снимай. Пластик на окнах... Телевизоры, холодильник огромный, дорогуший... На кухне – одна мойка жива... Господи, за что это всё? Вся жизнь на это ушла! Работали, недоедали, недо-



сыпали... Как свет закатился! Лица на них нет. Я их никогда такими не видела!

Лена сморщилась, заёрзала, будто едкая копоть от дорогих вещей вновь ударила ей в ноздри. Она несколько раз с шумом глотнула воздух. Рука её метнулась к лицу и вытерла глаза. Щёки её были влажными.

– Всё в гари, всё в вони! Дымища!... А зеркало – как се-рединку кто вытер... И кресло Юлькино – всё черно, а оно стоит. Стол, компьютер – всё черно. И в компьютер уже не влезешь. Они, как Юльку похоронили, пытались зайти к ней – да никак, пароля нет. Витька через ноутбук свой заходил, а там у неё в «Одноклассниках» написано: «Не хочется уходить, а надо...» К чему это? Может, знала что? Чувствовала?.. – Тут Лена, кажется, взяла себя в руки. Она всё вытирала глаза и щёки, но уже спокойно и не ладонью, а вынутым из кармана платком. – Ну не могла же она сама... Не могла! Она же девочка была умная, училась хорошо. Она бы школу вот-вот закончила. Тихенькая, глаза в маму – большие, зелёные... Что она там делала, в этих пятиэтажках долбанных?.. Вика ходила там после – говорит, одни окурки и бутылки пластиковых море. Что она там делала? Дома пустые – лестница и стены... Как она?.. Нет, это её скинули!.. Витька в полицию ходил, а они – нет, выпала из окна, и точка! Из окна выпала... Я у Вики спрашиваю, может мальчик у неё был? Не знаю, говорит, не рассказывала. Она же – то в школе, то гуляет, в компьютере до ночи сидит. Да и когда у неё спросишь? То работа, то ремонты, стройки эти постоянные. Там времени и сил знаешь, сколько уходит!.. Я говорю: с кем она дружила-то?.. «Да кто ж теперь знает?» Ну, с одноклассниками, наверное, водилась, но там дети-то хорошие – школа не абы какая, гранты получает каждый год. Станут они по этим развалинам лазить?.. Не хочется

уходить – а надо... Вика потом всю комнату её перевернула – ничего не нашла, и сигарет не нашла. Значит и не курила она, вроде как... Нет, это она не сама! Это её скинули!.. Витька мой хотел по одноклассникам её пройти, да некогда – то работа, то кухню как раз отделявать стали, а за этими работниками глядеть нужно, не отойдёшь... Вика как-то с рынка шла, а по другую сторону девочка из Юлькиной школы. И, говорит, так на меня посмотрела! Говорит, так и подошла бы к ней – в волосы бы вцепилась: «Тебе-то я чем виновата? Ты знаешь, как всё это даётся-то?! Ты на свой-то телефон не заработала, а смотришь!» Весь день потом сама не своя ходила. А Витька...

Кто-то из вновь вошедших, пробираясь на заднюю площадку, задел Лену то ли сумкой, то ли рукой. Лена обернулась, сердито наморщила лоб. Затем вернулась к своей подруге, уже растерянно – сбилась.

По ту сторону холодного стекла отходили другие автобусы, обдавая асфальт выхлопом, точно кипятком. Проходили мимо молодые люди – втягивая головы в плечи, но как один – без шапок. Маленькое зданье автовокзала тонуло в стылых деревьях, а стены воинской части – их было отсюда видно – с побитыми окнами и облупившейся краской напоминали плохо очищенный, розовый с белым апельсин – казалось, и их побило не временем и пустотой, а морозом.

Люди всё прибывали и прибывали.

– О! Вике сон приснился! – вспомнила Лена. Она подавалась вперёд, вцепилась руками в спинку Надиного сиденья. Голос её снизился до полужёпота: – Они ещё в Россоши были, у матери её хромоногой... Снится ей дом. И Юлькина комната. И Юлька сидит в кресле. И вся она такая – щёчки розовые, платье на ней красное в белый горошек – красивое-красивое! И улыбается... Кресло тут закружилось – она

в нём кружится и улыбается, волосы по плечам... Остановилась и говорит: «Мама, кто в кресле моём сидит?» Покружится: «Мама, кресло-то хоть моё!.. Мама, кто в кресле моём сидит?» Покружится и будто дымом подёрнулась. Дымом поволокло, и тает, тает... Она проснулась и говорит: поехали-ка домой, душа не на месте... А посреди дороги им и звонок!.. Господи! За что им это? Там же всё было – недоедали, недосыпали! Глаз не смыкали! Вся жизнь... За что им такое, Господи?!. А я сюда уже еду, Вика мне звонит, говорит, Витька кресло Юлькино топором изрубил. На помойку выкидывать собирается...

Тут в автобусе все вдруг зашевелились, зашуршали. Наконец-то появился водитель – тучный, с морщинистым, похожим на застывшее тесто, лицом; когда он поднялся на ступеньку, автобус слегка качнуло.

Елена озиралась по сторонам, что-то выискивая. Затем схватила за локоть мужчину, сидящего через проход, – он сидел там один:

– Мужчина, к молодому человеку не пересядете?

Он молча повиновался, и Лена, взяв Надю под руку – скормандовав ей: «Пойдём!» – перебралась на его место. Мой новый сосед был в дорогом узком пальто угольного цвета. Загорелое лицо с синеватой щетиной казалось пустым, отстранённым. От него приятно пахло одеколоном.

Водитель, двигаясь полубоком, собирал свою ежедневную дань. Кто-то показывал билет и говорил магическое «с Воронежа», кто-то протягивал деньги и получал железную сдачу. Когда водитель поравнялся с нами, мой новый сосед достал ровно сложенный желтоватый листок и, нелепо улыбнувшись, откомментировал: «Справка об освобождении». Водитель помялся с ноги на ногу и недовольно двинулся дальше.

Там, через проход, Лена всё ещё увещевала свою худощавую подругу, но та, уже не стесняясь, смотрела не на неё, а, отвернувшись, – в окно.

– Господи! Как они будут?.. Там ведь всё – всю жизнь строили, всю жизнь копили... Там ведь всё было – самое лучшее!.. Никогда я их такими не видела. Как они это переживут?

А водитель был уже за рулём. Хлопнула гармошка-дверь, отрезав духоту от холода. С хрипом завёлся двигатель, заставив автобус дрожать, как в угаре.

Как ни странно, но наш маленький «ПАЗик» ещё зиял пустыми сиденьями, хотя казалось, что люди всё прибывали и прибывали, что в нём становилось всё теснее и теснее и нечем было дышать. Должно быть, какой-то обман, ноябрьский холодный мираж застилал глаза и чувства, всё это время наполняя автобус призраками.

– Ну что, едем? – чей-то ехидный мужской голос.

И мы тронулись.

Ошарашенный морозом город, город-призрак – дрожащий, мутный – плыл перед нами. Размытый, как само время, перерастал он и в реку, и в пустые поля, и в кромку леса – не шевелящегося, стылого. Поля спали, оставленные человеком на зиму, чтоб по весне быть разбуженными руками и плуговой сталью; поля живые, созданные рожать и кормить в ответ на человеческий труд, простой и грубый человеческий труд – живое за живое.

В одну ночь... Мороз ударил резко и больно, как ножом; размыл и сковал, объединяя всё – и твёрдую, как бетон, землю, и дымные призрачные небеса.

## ВЕДЬ МЫ С ТОБОЙ...

**Б**ой курантов отдавался слабым эхом. И дрожало что-то внутри, в самом центре души – легко и жарко одновременно...

Но не успел ещё зазвучать гимн, как там, за похолодевшими окнами, уже засверкало, заискрилось, засвистело, затрещало, будто в стекла бросали мелкий горох. На мигающем экране плыли красные башни. Невидимый хор брал помпезную ноту. А я накинул рабочую куртку и второпях, не застёгиваясь, выскочил туда – в пёстрые объятия Первой ночи.

Шёл снег – как чудо. Он опускался мягко, бесшумно, в волшебном безветрии. Он возникал, казалось, из ниоткуда, перед самой землёй – в свете дворового фонаря. Забытый почти снег после мокрого декабря... А ночное небо жило! Ночное небо сверкало! Оно искрилось. Оно хлопало, трещало, свистело залихватски.

Я выбежал в палисадник. Через дорогу, за крышами сельских домов полыхало всё – точно далёкий бой Нового со Старым, Вчера и Сегодня. Взлетали в небо ракеты. Трещали разноцветные искры. Раскрывались призрачные медузы, рассыпаясь, как сахар. Через окна домов подмигивали ёлочные гирлянды. Били куранты улиц. Били каким-то неповторимым боем – неровным, кривым, но искренним и смелым – по-свойски простым.

И через весь этот гомон, через всё многоцветье я уловил краем глаза мигающий огонёк...

В небе летел самолёт. Он еле виднелся своим миганьем, но тут же стал близким, родным... Был ли там кто? Глядел ли сквозь линзы иллюминатора на пылающую праздником землю? О чём думал? Человек, застигнутый Новым годом высоко в небесах. Над местом, чьё название он и не вспомнит-то никогда...

Порывом, словно выдохом, захотелось сказать, крикнуть – и человеку этому, и красному огоньку, взрываю петард, людям с бенгальскими огнями, всему и вся – услышанное, прочитанное в детстве, но лишь сейчас вонзившееся в сердце:

*«Ведь мы с тобой... Ведь мы с тобой одной крови – ты и я!»*

Тихо опускался на землю первый в новом году снег.  
Завтра мир будет белым, как чистый лист.



# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Юрий Козлов. ДРУГАЯ ПРОЗА</i> .....	3
ШУШУНЫ.....	7
ТУМАН .....	29
ОСЕНЬ.....	37
МУХА.....	46
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ .....	47
МУЗЫКАНТЫ.....	52
ЖИВАЯ КРОВЬ .....	59
ОЧЕНЬ СТРАННАЯ ИГРА .....	82
РЕКА И ЕЁ БЕРЕГА .....	87
ЧЕРТА.....	101
СЫРНАЯ ЛУНА.....	111
ЖЕЛЕЗНЫЕ НОГИ .....	113
ПОХОРОНЫ, или КОРОТКИЙ РАССКАЗ О ДРУЖБЕ .....	138
СИЯНЬЕ ГОР .....	140
ЮЛЬКА.....	164
ВЕДЬ МЫ С ТОБОЙ... ..	173

**Чернов Сергей Валентинович**

# ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

*Рассказы*

Вёрстка – О. Сотникова  
Корректор – Н. Белявцева

Подписано в печать 25.07.2021 г.  
Формат набора 60x84/16. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,23.  
Заказ № 562. Тираж 300 экз.

---

Отпечатано в АО «Воронежская областная типография»  
394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 73а.  
[www.oblprint.ru](http://www.oblprint.ru)  
тел.: 8(473)20-20-900, 277-75-77